





В. Массаров

Борис ПАСТЕРНАК



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
П19

Серия основана в 2007 году

Составление
Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак

Тексты печатаются по «Полному собранию сочинений»
Бориса Пастернака в 11 томах.
М., «Слово», 2004—2005 гг.

Пастернак Б. Л.

П19 Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1279 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0285-4

В состав тома Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960) вошли все его стихотворные книги, роман в стихах, поэмы, повести и итоговое произведение— роман «Доктор Живаго», принесший ему мировую известность.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0285-4

© Пастернак Б. Л. Наследники, 2017
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ



НАЧАЛЬНАЯ ПОРА. 1912 — 1913

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

* * *

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслышанную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

1912

* * *

Сегодня мы исполним грусть его —
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.

Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.

И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.

1911, 1928

* * *

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

1913, 1928

СОН

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И паволокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк,

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущим бегущих по небу берез.

1913, 1928

* * *

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.

Дни далеко, когда предтечѣй,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

1913, 1928

* * *

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастями запил.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

1913, 1928

* * *

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они слышат: вот начаток,
Пример преподаан, — ваш черед.

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.

1913, 1928

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я прыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

ВЕНЕЦИЯ

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилок
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гондолы¹ рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

За лодочную их стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет — к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

¹ В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение. (Прим. Б. Пастернака.)

«Значит — в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыкает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913, 1928

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей — тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбьтсья никогда.

Наследственность и смерть — застольцы наших трапез.
И тихую зарей — верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, — и на своих двоих.

1913, 1928

* * *

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.

Он весь во мгле и весь — подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем, ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.

1913, 1928

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теньям крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один — я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.

Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин,
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин.
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928





ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ. 1914 — 1916

ДВОР

Мелко исписанный инеем двор!
Ты — точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валяются, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назад,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный — как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие тьме полыханьем огней!
 Крепкие стуже стрельбою поленьев!
 Стужа в их книгах — студеней моей,
 Их откровений — темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
 Окна и печи, но стужа в их книгах —
 Ханский указ на воцеленных брусках
 О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
 Шубой; от неба — свечою; трехгорным —
 От дуновенья надежд, впопыхах
 Двинутых ими на род непокорный».

<1916, 1928>

ДУРНОЙ СОН

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,
 Прислушайся к голой побежке бесснежья.
 Разбиться им не обо что, и заносы
 Чугунного цепью проносятся понизу
 Полями, по чересполосице, в поезде,
 По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,
 Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
 Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.
 Полями, по воздуху, сквозь окоlesiцу,
 Приснившуюся Небесному Постнику.
 Он видит: попадали зубы из челюсти,
 И шамкают замки, поместия с пришептом,
 Все вышиблено, ни единого в целости,
 И Постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
 От красных зазубрин карпатских зубцов.
 Он двинуться хочет, не может проснуться,
 Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назем огородника,
 Всю землю сровняли с землей на Стоходе.
 Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
 Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
 Как колокол на перекладине дали,
 Серебряный слиток глотательной впадины,
 Язык и глагол ее, — месяц небесный.

Нет, косноязычный, гундосый и силый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной напрочь отстреленной.
Его ожгло, как отёкшую тыкву.
Он прыгнул с гряды на ограду. Он в рытвине.
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя
Слова гололедицы, мглы и лафетов?
И сказка ползет, и клочки околесицы,
Мелькая бинтами в желтке ксероформа,
Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.

Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится Небесному Постнику...

1914, 1928

ВОЗМОЖНОСТЬ

В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах — ни единой вывески.
Солидные предприятия, но улица — из снов ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.

Суконщики, С.Я., то есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.

К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
 Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
 И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
 Она из Гончаровых, их общая знакомая!

1914

ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ

(Отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
 Плащи тополей и стоков,
 Тревога подула с грядущего,
 Как с юга дует сирокко.

Швыряя шафранные факелы
 С дворцовых пьедесталов,
 Она горящею паклею
 Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
 Или не быть ему?
 Но медных макбетовых ведъм в дыму —
 Видимо-невидимо.

.....
 Глушь доводила до бесчувствия
 Дворы, дворы, дворы... И с них,
 С их глухоты — с их захолустья,
 Завязывалась ночь портних
 (Иных и настоящих), прачек
 И спертых воплей караул,
 Когда — с Канатчиковой дачи
 Декабрь веревки вил, канатчик,
 Из тел, и руки в дуги гнул,
 Среди двора; когда посул
 Свобод прошел, и в стане стачек
 Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
 С подмокших, слипшихся лисиц
 На лед оконных переплетов
 И часто на плечи жилищ.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, — счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас все вокруг,
Что всё — таинственность, испуг
И сокровенье, — и что там,
На старом месте, старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавших небес.

Стояли тучи под ружьем
И, как в казармах батальоны,
Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость — неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестигались снежным слоем,
И вечной памятью героям
Стоял декабрь. Ряды окон,
Не освещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.

1915

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжён без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенья владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамоч
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника — ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамвай.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не удержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

1915

* * *

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

1915, 1928

ЗИМНЕЕ НЕБО

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух железом к ночи прикован,
О конькобежцы! Там — все равно,
Что, как орбиты змеи очковой,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, — лавой
Дух захватившего льда налиты.

1915

ДУША

О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему, — тень без особых примет.

О, — в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

1915

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.

И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал Ты есть земную соль?

1915

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримою ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь
И слышать сквозь темные спай
Ее поцелуев — «На помощь!»
Мои голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути...

1915

МЕТЕЛЬ

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожей
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
 Кругом озирался, смерчком с мостовой...
 — Не тот это город, и полночь не та,
 И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
 В посадe, куда ни один двуногий...
 Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
 — Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
 Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
 Заваливай окна и рамы заклеивай,
 Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор,
 Они поклялись извести человечество.
 На сборное место, город! За́ город!
 И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено валяются на руки.
 Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
 Снежинки спуют, как ручные фонарики.
 Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра польньи, и мерещится в музыке
 Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес! —
 Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
 Уюта! — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
 Подонки творенья, метели — сполáгоря.
 Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
 Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
 На ночь натыкаясь руками, Урала
 Твердыня орала и, падая замертво,
 В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
 Громады и бронзы массивов каких-то.

Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устанный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

1916

ЛЕДОХОД

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолобив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый ляг и стук ножовый,
И сталкивающиеся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916, 1928

* * *

Я понял жизни цель и чту
Ту цель, как цель, и эта цель —
Признать, что мне не вмоготу
Мириться с тем, что есть апрель,

Что дни — кузнечные мехи
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.

1916

ВЕСНА

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фигмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Саями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы, —
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички, —
Им, ветреницам, холодно.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?²
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?²

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?²

Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, —
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?²
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

1914

ИВАКА

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня — парось.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

1916, 1928

СТРИЖИ

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержат голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
 Что б там, наверху, задержало
 Витийственный возглас их: о торжество,
 Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
 Уходит бранчливая влага, —
 Смотрите, смотрите — нет места земле
 От края небес до оврага.

1915

СЧАСТЬЕ

Исчерпан весь ливень вечерний
 Садами. И вывод — таков:
 Нас счастье тому же подвергнет
 Терзанию, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
 С лица и на вид таково,
 Как улиц по смьтыи ненастья
 Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
 Там заштемпелеван теплом
 Окраин, забыт и охаян,
 И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
 И — внятной тем более, что
 И рощам нет счета: решета
 В сплошное слились решето.

На плоской листе. Океане
 Расплавленных почек. На дне
 Бушующего обожанья
 Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
 По клетке и влюбчивый клёст
 Зерном так задорно не брызжет,
 Как жимолость — россыпью звезд.

1915

ЭХО

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли в песню ли льется.

Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.

И если березовых куп
Безвозгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью,

И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.

1915

ТРИ ВАРИАНТА

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное щелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится, и каплями
Струится веснушчатый пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури — по́ходь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водополя.

1914

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к нёбу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дуряя,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

1915

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатаься с паутины, залег
В крапиве, но кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
 Под хлопанье крыльев, плеск и клеток.
 Я вытянул руки, я встал на носки,
 Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
 И волны. — И птиц из породы люблю вас,
 Казалось, скорей умертвят, чем умрут
 Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
 Пылали кубышки с полуночным дегтем.
 И было волною обглодано дно
 У лодки. И грызлися птицы о локте.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
 Казалось, покамест птенец не накормлен,
 И самки скорей умертвят, чем умрут
 Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

БАЛЛАДА

Бывает, курьером на бóрзом
 Расскачется сердце, и точно
 Отрывистость азбуки Морзе,
 Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
 Герольд или просто поэт,
 В груди твоей — топот лошадный
 И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
 Кому кого жалеть?
 С платка текла распутица,
 И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо,
 И штемпеля вlepлял,
 Как оплеухи наглости,
 Шалея, конь в поля.

Бряцал мундштук закушенный,
 Врывалась в ночь лука,

Конь оглушал заушиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи
Движенье: лакей со свечой в колпаке.
Мельчай, копят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Макает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятеричной оправой
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крюками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы
Отвечу: путь мой был тернист.

Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.

А зимы другую основу
Сновали, и вот в этом крошеве
Я — черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.

Я — пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я —
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счеты по службе, всю сладость и яды,

Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я — мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.

Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.
Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,

Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унести.

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,
Пускались снова без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,
И музыкой — зеркалом исчезновенья
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась быбью в обвязке дождя.

Жестко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был, как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти била вода.

Потом начиналась работа гравиров,
И черви, разделив сырье под орех,
Вгрызались в создание гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею машиной
На август напарывались дерева,
И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.
Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшной из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронести мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
Я трачу в глупых разговорах
Все, что дорогой приберег.

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшей из взрослых
И сверстник сердца моего.

1916, 1928

МЕЛЬНИЦЫ

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочки начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек шевеленье.

Как губы, — шепчут; как руки, — вяжут;
Как вздох, — невнятен, как кисти, — дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам — свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубах, висят на горбах
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегают и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охапками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтоб бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуется на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

1915, 1928

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша

Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани
И городские фонари.

1916

ИЗ ПОЭМЫ

(*Два отрывка*)

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В польни и мяте и перепелах.

И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может стать. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)

Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1917, 1928

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, — полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь — бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женевскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И, будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин — арак, а горожанок —
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, Бога ради,
О, Бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчужденьем облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

1917

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
не включенные в основное собрание**



* * *

Сумерки... словно оруженосцы роз,
На которых — их копья и шарфы.
Или сумерки — их менестрель, что врос
С плечами в печаль свою — в арфу.

Сумерки — оруженосцы роз —
Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос
За рыцарскою альмавивой.

Двух иноходцев сменный черед,
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет
Ночь в свои тусклые ткани.

Тот и другой. Топчут полынь
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь
Сердцебиение тел их.

<1909>

БЕТХОВЕН МОСТОВЫХ

Какой речистою зарей
В проталинах пылает камень!
Но кто-то в улице — второй
Каменьев задувает пламень.

Так движет иногда полы
Сосед, донесшись из-под бревен,
И вдруг... сонаты кандалы
Повлек по площади Бетховен.

Окно закрыли. Смыт побег.
 Одна весна лишь над висками.
 Кресты и клики пересек
 Филармонический экзамен.

<1910>

* * *

Я в мысль глухую о себе
 Ложусь, как в гипсовую маску.
 И это — смерть: застыть в судьбе,
 В судьбе — формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен
 Я этой думою о жизни.
 Мысль о себе — как капюшон,
 Чернеет на весне капризной.

<1910>

ENSEIGNEMENT¹

Л<ене> В<ысокой>

Минувшее, как призрак друга,
 Прижать к груди своей хотим.

Я научу тебя тому блаженству,
 Которого не заменяет ласка.
 Ты ж надо мной, как можешь, верховенствуй,
 Во мне печаль послушного подпаска.

Когда ненастье выбившейся прядью
 Благословит твое изнеможенье,
 Будь воскресающею двугорядью
 Любого опочившего движенья.

И, пробудясь, обманутое эхо,
 Втори своей пригрезившейся грусти,
 Скорбь отклика разнузданнее смеха —
 Она — венцом на каждом златоусте.

Покинут миг минувший — ты в отъезде,
 Он ждет тебя с покорностью пёсией,
 Но будь трабантом в дней своих созвездья,
 Вернись, возвращая с их певучей осью.

¹ Обучение (фр.).

Я научу тебя тому восторгу,
Что каждую утолевает жажду,
Не покидай воздвигнутого морга,
Будь вечно с тем, что там легло однажды.

<1911>

* * *

Бесцветный дождь... как гибнущий патриций,
Чье сердце смерклось в дар повествований...
Да солнце... песнью капель без названья
И плачем плит заплачено сторицей.

Ах, дождь и солнце... странные собратья!
Один на месте, а другой без места...
Один с землею в пылкости объятья,
А где другого спетая невеста?

И дождь стоит, и думает без шапки,
С грустящей степью, степью за плечами.
А солнце ставит дни, как ставят бабки,
Чтобы сбивать их грязными лучами.

1912

* * *

Он слышал жалобу бруска
О лезвие косы.
Он слышал... падала плюска...
И шли часы.
О нет, не шли они... Как кол
Колодезной бадьи,
Над севером слезливых сел,
Что в забытьи,
Так время, радуясь как шест,
Стонало на ветру
И зыбью обмелевших звезд
Несло к утру.
Распутывали пастухи
Сырых свирелей стон,
И где-то клали петухи
Земной поклон.

1912

ЭЛЕГИЯ 3

Бывали дни: как выбитые кегли,
Ложились в снег двенадцатые дня.
Я видел, миги местничеств избегли,
Был каждый сумрак полднем вокруг меня.

И в пустырях нечаянных игрищ
Терялись вы, ваш целившийся глаз.
Теперь грядущего немой паралич
Расколыхал жестокий ваш отказ.

Прощайте. Пусть! Я посвящаюсь чуду.
Тасуйте дни, я за века зайду.
Прощайте. Пусть. Теперь начну оттуда
Святимых сроков сокрушать грядущу.

1912

* * *

Там, в зеркале, они бессрочны,
Мои черты, судьбы черты,
Какой себе самой заочной
Я доношусь из пустоты!

Вокруг — изношены судьбою,
Оправленные в города,
Тобой повитые, тобою
Разбросаны мои года...

1912

* * *

Пусть даже смешаны сердца,
Твоей границей я не стану,
И от тебя — как от крыльца
Отпрянувшая в ночь поляна.

О, жутко женщиной идти!
И знает этих шестивий участь
Преображенная в пути
Земли последняя певучесть.

1912

* * *

В пучинах собственного чада,
Как обращенный канделябр,
Горят и гаснут водопады
Под трепет траурных литавр.

И привиденьем Монгольфьера,
Принесшего с собой ладью,
Готард, являя призрак серый,
Унес долины в ночь свою.

1912

PIAZZA S. MARCO

Я лежу с моей жизнью неслышною,
С облаками, которых не смять.
Море встало и вышло, как мать,
Колыбельная чья — уже лишняя.

Потому что водою вдовиц
Приоделися рифы и россыпи.
Говор дна — это скрип половиц
Под его похоронною поступью.

В серый месяц, как в старые латы,
Не вмещается лай собак,
Отекают туманом телята,
И уходит в степь рыбак.

О, какой он рослый в споре
С облаками. Как — он рослый?
Вскоре ты услышишь: море
Перевесят его весла.

1912

* * *

Я не ваш, я беспечной черни
Беззаботный и смелый брат.
И досуги народной вечерни —
Ключари мне постылых врат,

Где, отрекшись от самоуправства,
Я в рабыни продал тоску.
Полумрак их подменного графства
Над душою моей начеку.

Но открытой отдушины дырочка,
Осчастливив столицей извне,
До последней отсчитанной выручки
Утешеньем единственным мне.

<1913>

* * *

На волю, на волю, на волю!
Захлопнулся тяжкий затвор.
Ах, снова себе я позволю
Стать скорбью, грустить до тех пор,

Покамест подменного принца
Не сменится озором сон,
Не встретит <?> любимца
Мать, тип возрожденных матрон.

И купленная улыбка
С лица моего не сойдет,
Но шибко, хоть сдержанно, шибко
Зарю свою сердце забьет.

<1913>

ЭДЕМ

Н. Асееву

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправо уйдет Евфрат.

Горит немислимый Эдем
В янтарных днях вина,
И небывалым бытием
Точатся времена.

Минуя изменную тень,
Их ангелы взнесут.
Земля — сандалии ремень,
И вновь Адам — разут.

И солнце — мертвых губ пробел
И снег живых мощей
Того, кто всей вселенной бдел
Предсолнечных ночей.

Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней:
Курится рубежом любовь
Между землей и ней.

1913

ЛЕСНОЕ

Я — уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме,
Подносит утро луч в упор.

Но мхи пугливо попирая,
Разгадываю тайну чар:
Я — речь безгласного их края,
Я — их лесного слова дар.

О, прослезивший туч раскаты,
Отважный, отроческий ствол!
Ты — перед вечностью ходатай,
Блуждающий — я твой глагол.

О, чернолесье — Голиаф,
Уединенный воин в поле!
О, певческая влага трав,
Немотствующая неволя!

Лишенных слов — стоглавый бор,
То — хор, то — одинокий некто...
Я — уст безвестных разговор,
Я — столп дремучих диалектов.

1913

* * *

Грусть моя, как пленная сербка,
Родной произносит свой толк.
Напевному слову так терпко
В устах, целовавших твой шелк.

И глаз мой, как загнанный флюгер,
Землей налетевшей гоним.
Твой очерк играл, словно угорь,
И око тонуло за ним.

И вздох мой — мехи у органа —
Лихой нагнетают фальцет;
Ты вышла из церкви так рано,
Твой чистый хорал недопет!

Весь мартиролог не исчислен
В моем одиноком житы,
Но я, как репейник, бессмыслен
В степи, как журавль у бадьи.

1913

БЛИЗНЕЦЫ

Сердца и спутники, мы коченеем,
Мы — близнецами одиночных камер.
Чья ж косы горящим Водолеем,
Звездюю ложа в высоте я замер?

Вокруг — иных влюбленных верный хаос,
Чья над уснувшей бездыханна стража,
Твоих покровов — мнущийся канаус —
Не перервут созвездные миражи.

Земля успенья твоего — не вычет
Из возносящихся над сном пилястр,
И коченеющий Близнец граничит
С твоею мукой, стерегущий Кастор.

Я оглянусь. За сном оконных фуксий
Близнец родной свой лунный стан просыпал.
Не та же ль ночь на брате, на Поллуксе,
Не та же ль ночь сторожевых манипул?

Под ним — лучи. Чеканом блещет поножь,
А он плывет, не тронув снов пятою.
Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь,
Гнетешь и гнешь, и стонешь высотой?

1913

БЛИЗНЕЦ НА КОРМЕ

Константину Локсу

Как топи укрывает рдест,
Так никнут над мечтою веки...
Сородичем попутных звезд
Уйду однажды и навеки.

Крутой мы обогнем уступ
Живых, заночевавших криптий,
Моим глаголом, пеплом губ,
Тогда найденьша засыпьте.

Уж пригороды — позади.
Свежо... С звездой попутной дрогну.
Иные тянутся в груди,
Иные — вырастают стогна.

Наложницы смежилась грудь,
И полночи обогнут профиль,
Кольшется, коснеет ртуть
Туманных станов, кранов, кровель.

Тогда, в зловещей полутьме,
Сквозь залетейские миазмы,
Близнец мне виден на корме,
Застывший в безвременной астме.

1913

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОСТОР

Сергею Боброву

Что ни утро, в пленении барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфьера
Вырываются в брезжущий тент.

Их напутствуют знаком беспальым,
Возвестившим пожар каланче,
И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече.

Утончаются взвитые скрепы,
Струнно высится стонущий альт;
Не накатом стократного sklepa,
Парусиною вздулся асфальт.

Этот альт — только дек поднеbesий,
Якорями напетая вервь,
Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная верфь.

И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.

Прирученный не вытерпит беркут,
И не сдержит твердынь карантин.
Те, что с тылу, бескрыло померкнут, —
Окрыленно вспыхнешь ты один.

1913

* * *

Ночью... со связками зрелых горелок,
Ночью... с сумою дорожной луны,
Днем ты дохнешь на полуденный щелок,
Днем на седую золу головни.

День не всегда ль порошится щепоткой
Сонных огней, угрызеньем угля?²
Ночь не горела ль огнем самородка,
Жалами стульев, словами улья?²

О, просыпайтесь, как лаззарони
С жарким, припавшим к панели челом!
Слышите исповедь в пьяном поклоне?² —
«Был в сновидения ночью подъем».

Ночью — ниспал твой ослабнувший пояс
И расступилась смущенная чернь...
Днем он таим поцелуем пропойц,
Льнущих губами к оправе цистерн.

1913

* * *

За обрывками редкого сада,
За решеткой глухого жилья,
Раскатившеюся эспланадой
Перед небом — пустая земля.

Прибывают немые широты,
Убыл по миру пущенный гул,
Как отсроченный день эшафота,
Горизонт в глубину отшагнул.

Дети дня, мы сносить не привыкли
 Этот запада гибнущий срок,
 Мы, надолго отлившие в тигле
 Обиходный и легкий восток.

Но что скажешь ты, вздох понаслышке,
 На зачатый тобою прогон,
 Когда, ширью грудного излишка
 Нагнетаем, плывет небосклон?

1913

ХОР

Ю. Анисимову

Жду, скоро ли с лесов дитя,
 Вершиной в снежном хоре,
 Падет, главою очертя,
 В пучину ораторий.

(Вариант темы)

Уступами восходит хор,
 Хребтами канделябр:
 Сначала — дол, потом — простор,
 За всем — слепой октябрь.

Сперва — плетень, над ним — леса,
 За всем — скрипучий блок.
 Рассветно строясь, голоса
 Уходят в потолок.

Сначала — рань, сначала рябь,
 Сначала — сеть сорок,
 Потом — в туман, понтоном в хлябь,
 Возводится восток.

Сперва — жжешь вдоволь жирандоль,
 Потом — сгорает зря;
 За всем — на сотни стогн оттоль
 Разгулы октября.

Но будут певчие молчать,
 Как станет звать дитя.
 Сорвется хоровая рать,
 Главою очертя.

О, разве сам я не таков,
 Не внятно одинок?

И разве хоры городов
Не певчими у ног?

Когда, оглядываясь вспять,
Дворцы мне стих сдадут,
Не мне ль тогда по ним ступать
Стопами самогуд?

1913

НОЧНОЕ ПАННО

Когда мечтой двояковогнутой
Витрину сумерки покроют,
Меня сведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров;
Да, надо так, чтоб вместе мучились,
Сам-третий с нами — ночи норов.

Да, надо, чтоб с отвагой юноши
Скиталось сердце Фаэтоном,
Чтоб вышло из моей полуночи
Оно тяглом к твоим затонам.

Чтобы с затишьями шоссейными
Огни перекликались в центре,
Чтоб за оконными бассейнами
Эскадрю дремало джентри.

Чтоб, ночью вздвоенной оправданы,
Взошли кумиры тусклым фронтом,
Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна золотого вычески
Сбивались сединами к мелям,
Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.

Когда ж костры колоссов выгорят
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригород
И где, когда вне песен — негде?

1913

ΠΡΟΖΑ



АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

...Передают, будто греческий художник Аппеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Аппеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром раздуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте господину Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, выдавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми теньями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошла по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Il sangue»¹.

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Аpellесова удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Аpellесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны) — вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

P. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Контти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Аpellеса...»

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предьявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — «Рондольфина!» — дико вскрикнув, «Энрико!» — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фана-

¹ «Кровь» (ит.).

тизмом произносятся свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой пронеслись по улице: духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распался без прекословия коннеющийся город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, вставляя в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороденные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семена своими вспышками, щекокущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжелое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат, горели чугунные перекааты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: «Pront!»¹ — и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скреживаясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, поднимаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, убудочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков. Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

¹ «Готово!» (ит.)

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

«Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможность нет. Впереди — упойтельная полная неизвестность».

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегает ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

«Это — наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа-ах, — зевает Гейне, — с какой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная пометка: «Феррара!»

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора, грохоча, сползает по вагонной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер «Vосе» уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?

— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая среди массы обиходных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?

— В том-то и дело. Я, собственно, в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами «Vose» в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон — разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В каком этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

«Ritrovamento!». — Найдена рукопись новой, готовившейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владельца рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице «Тассо», лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты «Vose», равно как дирекция гостиницы, будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжимается, словно пропитывается ею паркет. Снова это — рдеющая плетенка из подпаленных, плоящихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный половик, свалявшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице — говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара разошедшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас!

Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь, Гейне спороно, вздохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

¹ Находки (ит.).

— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. — Сейчас. Ах, да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут?

Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Постойте, камерьере!

Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

— ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея:

— Ладно, ладно.

— Камерьере, дама в салоне?

— Да, синьор.

— Она одна там?

— Одна, синьор, пожалуйста. Налево, синьор. Налево!

— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?

— Pardon, вы из номера восьмого?

— Да, я занимаю этот номер.

— Я — за тетрадью Релинквимини.

— Позвольте представиться: Генрих Гейне.

— Простите... Вы в родстве?..

— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...

— Вы пишете стихи?

— Я не писал никогда ничего другого.

— Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...

— Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?

— Конечно. Так это вы?!

— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.

— Камилла Арденце.

— Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попалося на глаза мое сегодняшнее заявление в «Vосе»?²

— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.

— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, посетим несравненным Релинквимини...

— Оставьте, мы не на подмостках...

— Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.

— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презрения к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи, — обращается к вошедшей отравитель, — взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображение. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью, — оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собственными рассказами о вас, — вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо, — отвечает отравителю счастье отравленного. — Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся окончила. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинквимини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. «Разотрите мне руки», — говорит, кажется, счастье?³

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

— Ну?⁴

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка вос-

пользоваться ими; он дал мне власть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?

— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его».

— О синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь. «Да, — скажу я, — да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурочена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на колених перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает.

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом — и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.

— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос — это по-гречески страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас, объяснитесь. И послушайте, пожалуйста, не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все-таки — вы не осудите меня за фамильярность? — вы — необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не то слово, вы — поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Evviva!¹ — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

— Осторожнее, синьор Гейне, — кричит Камила, — осторожнее, я боюсь!

¹ Ура! (ум.)

— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! — Лиры летят на площадь. — Столько же и, может, вдесятеро больше получишь, обворовав с десяток феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри не дыхни на цветы, как будешь несть: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за пронизательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмостки? Чего вы, собственно, хотите?

— Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?... Забыла... Пойдите... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы сейчас назвали меня?

— Конечно, и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же случилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? Влоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю. — Камилла протягивает Гейне руку. — И все же. Нет, Господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синь-

ора, — глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! — полушепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливая вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает подбородок и — о чудо! — слегка приподымает его, приподымает выше, — синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй — и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь, — поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытягнувшееся ее тело, — хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы. — Сту-чат! — И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В коридоре доругивающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедший в целый лес лиан, олеандров, флердоранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь: таковою может быть только салон.

— Да, да, салон, — гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон, — соглашается Гейне, — это я сам ему приказал.

— ...Потому что, — нетерпеливо продолжает лакей, — ни до конторы, ни до ванн, ни тем более до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах, да, — словно только сейчас проснувшись, восклицает Гей-

не, — Рондольфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное создание?¹

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма, — нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе непреборимой веселости, — при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дожидаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав, — останавливает риторика Гейне, — это я велел ему самолично явиться перед лицом синьоры...

— ...Мошенник этот, — уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец, — пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне. — Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. «Синьор, — пригрозил он, — синьор негодянт в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo¹, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний. — ...В восьмой пока что, — не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам покамест, — слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

— Джулио весь в рубцах. Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет у Джулио, — плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольди, синьор, — неуверенно-мечтательно, как галлюцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом раздражается и лакей, лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкою лапою по протянутой бумажке.

— Постой, — говорит Гейне. — Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерье-

¹ Гостиниц (ит.).

ре, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоприятен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показывать на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распусться; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Мерси, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее, — я отправлю телеграмму домой, во Франкфурт, — и платье у вас все в лепестках, синьора, — и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что затаив дыхание окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забились в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посылным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот... А Релинквиними?.. Какой далекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча Нового года?!.. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..»

— О чем вы задумались, Камила?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опоздание не превысит...

— К чему это, Камила?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогается и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие? Где он, где он, Камила?

— Вы поблдедели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли? Или я не так произношу это имя? Рондольфино? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое, значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камила? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико?

— О Камила, Рондольфина — это вы!

— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!

Оба вскакивают. Камила вся — одно движенье бесповоротно стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камила хватается за

спинку кресла, что-то встало меж ней и ее решением, что-то вселилось в нее и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх, наоткось... Пропала!.. Сорвать его, сорвать коле...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее; разговоры за всеми столиками претякаются об этот несчастный столик, она еще видит его, еще опирается, может, пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.

— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия, — а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?

— Чего же вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня... А они все стоят еще?

— Что, Камилла?

— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?

— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?

— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот — совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да, надо вынести их. А куда бы? Пойдите, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное...

— Ночь уже. Кажется, посвежело немного.

— Отчего так мало народу на улице?

— Тсс, каждое слово слышать.

.....
— О чем это они?

— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы...

— Пустите-ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!! Вот опять тишина. Как диковинно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в последнем?

— Что, Камилла?

— Над нами еще этаж?

— Да, кажется.

Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.

— Нет... — Но Гейне не дает ей договорить. — Нет никого, — высвобождаясь, повторяет она.

— В чем дело?

— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошеные листья и тени в окошко швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну и нет никого.

— Да это поэзия сама, Камилла!

— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.

— Кто, Камилла?

— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припадки! Если бы устроить как-нибудь...

— Номер уже заказан для вас.

— Правда? Какая заботливость! Наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим, какой это номер у меня? Интересно.

Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьницы, осаждающие Трою на деревянном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления о близости нового утра стали болливо разглагольствовать католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отвешивая свои холодные поклоны. В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившим, затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр.

— Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса, потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызывать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках, из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и по исполнении всех технических обрядностей нашел себе собеседника в лице редактора газеты «Vose».

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?

— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну, в чем дело?

— Да, я задержался на сутки.

— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставляю.

— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили.

— Он вам никогда ни на что не понадобится.

— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини и не подумает обращаться к вашему посредничеству.

— Потому что он не нуждается в нем.

— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимини никогда никакой тетрадки не терял.

— Позвольте, — хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно нет.

— Опять? Хорошо, допускаю. Но это — шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей «Vосе». И далеко не то — за его пределами.

— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.

— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взошло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому названье порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне.

— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.

.....

— Вот именно.

.....

— Очень лестно слушать.

.....

— Да что вы?

.....

— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал, проведемте часок вместе.

.....

— Девять тридцать пять. Впрочем, время — цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.

.....

— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами.

.....

— Да, да, господин редактор, вы — пифия.

.....

— Или завтра на дуэльную площадку, за город.

.....

— Не знаю, может быть, и не шутка.

.....

— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo Santo послезавтра.

.....

— Вы думаете?

.....

— Вы думаете?

.....

— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.

.....

— Не слышу... ?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это — дивный номер, господин редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор.

Гейне машинально поворачивает выключатель.

— Не туши, Энрико, — раздается в темноте из глубины коридора.

— Камилла?!!

1915

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОНТРОКТАВЫ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1

Богослужение окончилось. Пучающаяся волна чопорных робронд и оттопыренных оборок хлынула к выходу. Когда отбушевало платье последней прихожанки, под сводами стало холодно и бессмысленно пусто: внутренность бездушной церкви уподобилась стеклянному колоколу огромного воздушного насоса; через узкие клапаны долгих окон на спинки скамей и на завитки лепных украшений лились охлажденные потоки белого, обесполенного полдня; их всасывало сюда пустотой огромного помещения; они были похожи на колонны, поваленные набок, и упирались всею массой своего света в деревянные бордюры широких сидений, чтобы не поскользнуться на каменном полу и не рухнуть на пыльные доски пюпитров.

А тем временем органист поддавал жару. Он дал волю своей машине в тот еще момент, когда вслед за брюзгливым визгом протяжно затормаживаемой каденции с гулким шарканьем повставали со своих мест крестьяне и горожанки и толпою направились к выходным дверям.

На пороге образовалась давка; навстречу к выходящим тронулся и пошел, сдвинувшись с насиженного места, горячий нагрет сухого майского ведра. Толпа выходила на паперть с говором, какой сразу завязывается на воле, громким, сборным и людным; говор этот облит был солнцем, и его ожгло чириканьем птиц. Но и за таким говором, с яркой площади, через раскрытые двери, было слышно, как провожает прихожан радушный Кнауер. В толпе легко могли затереть или память подголоски его ликующей инвенции, которые прыгали промеж расходящихся и кидались им на грудь, как резвящиеся лягавые, в полном исступлении от радости, что их так много при одном хозяине, — потому что органист имел обыкновение спускать всю свору бесчисленных своих регистров к концу службы. Постепенно церковь опустела. Но органист продолжал играть.

Всякая сила, отдавшись непланомерно быстрому росту, достигает, наконец, до того предела, где, осмотревшись по сторонам, она не видит уже никого возле себя. Мелодическая кантилена инвенции с минуты на минуту становилась лучше; она хорошела и наливалась зрелой силой, а когда сквозь нее потянуло одиночеством и свело ее по всему ее телу недомогающим силой, не находящей дела по себе, органист содрогнулся от того чувства, которое знакомо только артисту; он содрогнулся от того свойства, которое существовало в этот миг между ним и кантиленой, от смутной догадки, что она знает его так же хорошо, как и он ее; и его влекло к ней влечением равного к равному, он гордился ею, не зная, что их чувства взаимны.

Органист играл, позабыв обо всем на свете. Одна инвенция сменялась другой. Случилась и такая, где вся звуковая знать верхов неприметно, друг за дружкой перебралась в басы. Тут, в баронии благородных октав, верх надо всем взяла одна, сильнейшая и благороднейшая, и завладела темой безраздельно. Тема приближалась к органному пункту, шумно развивая неслыханную, угрожающую скорость. Она благополучно пронеслась мимо последнего звена секвенции; от доминанты ее отделяло несколько шагов, как вдруг вся инвенция, — инвенция целиком, сразу в одно мгновение ока непоправимо катастрофически осиротела, словно со всех этих звуков одновременно посшибали шапки или сами они, всю толпой пообнажали головы; когда, на рискованнейшем повороте одного басового предложения, орган отказал двум клавишам в повиновении и из грандиозного бастиона труб и клапанов рванулся какой-то нечеловеческий крик, нечеловеческий оттого, что он казался принадлежащим человеку.

Этот необъяснимый вопль был, впрочем, скоро покрыт и замят иными звуками; и хотя из-под свихнувшегося клавиша нельзя было уже извлечь ничего, кроме стука деревяшки об деревяшку, органист мужественно снес свое лишение. И так же, как не дал органист оторвать себя от мануала получасом раньше своей жене, так точно и сейчас его не могло остановить в его излипаниях неповиновение какого-то клавиша. А получасом раньше жена его, зайдя в пустую церковь через боковой вход, громко через всю церковь прокричала ему на галерею, что Аугуста, сестра его и ее невестка, — здесь, что она приехала уже, и хорошо бы ему сойти к ней; она тут в церковном саду сейчас и ждет его, она хочет поскорей увидеть маленького Готлиба, а Кнауер зачем-то прихватил мальчика с собой, и ребенок, наверное, проголодался; что если Кнауер останется играть, пусть бы он мальчика по крайности ей сдал, и они бы тогда с Аугустой домой пошли, а так... и чем, собственно, ребенок виноват, что отец...

— Готлиба здесь нет, — отрезал, не оборачиваясь, Кнауер. — Он вертелся тут — а теперь не знаю, где — он, наверное, у Поккеннарбов — я видел его вместе с Терезой.

— Опять эти пономарята, Кнауер, сколько раз!..

— Не слышу. Ступай домой, Дортхен. Я ничего не слышу.

Столько же внимания Кнауер уделил и покалеченному клавишу. Он перенес свой уход за звуками с басов в средние октавы, где несколько заключительных аккордов вернули ему, наконец, самообладание и спокойствие. Затем он поднялся с сиденья, запер мануаль на ключ и, отпустив раздувальщика Зеебальда домой, прошел во внутреннее помещение органного корпуса, чтобы на месте исследовать повреждение вентилях *Gis* и *Ais*.

II

Был вечер Троицына дня. В малоосвещенных частях города, как слова, произнесенные ровным голосом среди полнейшей тишины, со светлеющего неба срывались краткие, до черноты стесненные и сжатые линии коньков, стрельчатых карнизов, свесов, подзоров и прочих чудес средневекового зодчества, закопченного сумраком и стариной. Черные края их лихорадило от прикосновения небесного озера, в котором, тая и питая его глубины темным холодком, плавало два куска колотого льда: две крупных обтаивающих звезды, переполнявших через и без того полное колыханной светлости небо. И черные края гребней и стрех бросало в тонкий озноб от близости таких ключей, в озноб тем более резкий, что не было таких закруглений и таких выемок в строе кровель, до которых не добирался бы, доставая и прощупывая их — зыблящийся наплыв этой бледной, неосевшей ночи.

В этих частях было тихо, и тишина действовала чудным, возбуждающим образом на небо; оно, настораживаясь и вздрагивая, прислушивалось к чему-то издалека. Но стоило появиться трактирному фонарю в купе садовых каштанов, как тотчас же мутные его лучи зажигали целый муравейник шелеста вокруг; и муравейник этот, кучась, становился вдруг муравейником сонных и скучных слов, когда, раздвигая садовые стулья и не дожевав своих речей, занесенных с улицы, вокруг столов рассаживались домовитые жители Ансбах со своими чадами и домочадцами. Тогда, распростав заскорузлые сучья каштанов, небо нагибалось к бесеующим; оно свешивалось на кончиках веток к самым скатертям, гибкое и мускулистое, как гимнаст, смуглое, покрывшееся оливковым загаром от присутствия горящих там и сям садовых фонарей. И мимоходом задетые им пирамидальные соцветия изредка роняли отдельные цветы со своих стоячих горок; лепестки эти упали в кружки с пивом и, кружась, успокаивались, наконец, в кольчатом кружеве пивной пены на поверхности, изошедшей сплетением петель и похожей на вытекший бычий глаз. А на холщовые скатерти ночь швыряла целые пригоршни жуков, ночных мушек и мотылей и пригоршнями жирного кофейного семени, с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей. Как в казане жаровни, богатой, полновесною гущей сыпались, кру-

шась, речи в садах, где словно кто мешал и поворачивал их железным совком, руша и пересыпая их с глухим снотворным звоном.

Здесь за столами только и говорили, что о несчастьи у Кнауеров, — и у людей охота пропадала веселиться, лишь только об этом заходила речь. Лавочки и цеховые, с женами и детьми, призав однажды, что праздник испорчен уже этим мгновенно весь город облетевшим известием, исхищрялись в старании испортить друг другу последний хотя бы остаток праздничного расположения духа, раз уж в угоду лицемерной участливости каждому из них пришлось отказаться от своих праздничных повадок. И они надоедали друг другу повторяющимися пересудами о том, может ли такая беда стрястись над всяким; поделом или нет посетил Господь заносчивого органиста, и если поделом, то не угодней ли Создателю они, эти простые и в этот вечер простоту свою удовлетворенно признавшие души. Чутьем домашних животных чуяли они, что праздник святой Троицы — праздник их сословия, что грузные и узловатые своды каштановых деревьев — сословная их сень, и что пиво, изошедшее сомкнутыми петлями и кольцами и похожее на вытекший бычий глаз, — их сословный напиток. И так как именно в этот день и как раз на общей почве родного города был наказан Провидением чуждавшийся их органист — не еще где-нибудь и не в иной какой день, — то им казалось всем, что он не случайно и с умыслом наказан Провидением в их присутствии; что они призваны всем своим присутствием судить Кнауера и осудить. И они осудили его, присудив органиста к тому, что произошло уже и без их вмешательства, несколькими часами раньше, в этот мирный и незаносившийся теплый и, следовательно, сословный их день святой Троицы. Весь город только и говорил, что об органисте. И когда Юлий Розариус на возвратном пути из Лоллара, поздною ночью, при проезде через Старые графские ворота, не сходя с экипажа, спросил по давнишней своей привычке сторожа у этих ворот, нет ли чего нового в городе, он услышал в ответ приблизительно следующее. Кнауер, органист, насмерть задавил собственного своего ребенка; говорят, это случилось во время бешеных его экстапорирований; ребенок забрел во внутреннее помещенье органа, и его придушило там боковым каким-то рычагом. Одному Богу известно, как это случилось. Не верится, чтобы это было возможно, и, однако, это так.

Всю ночь на квартире у Кнауеров кресла, столы и шкафы, часы и книги чувствовали себя так, как будто на них надели парусиновые чехлы, хозяева в отъезде, двери на замке; между тем наружные двери и не приотворялись ни разу за весь день, хозяева были дома и не ложились, и некоторая доля правды была лишь в том, что касалось чехлов: потому что чехлы, чехлы из частых всхлипываний, сдержанных рыданий и неслышных шагов — до полу висели на всем инвентаре и не было такой вещи в столо-

вой, — дверь об дверь примыкавшей к той комнате, где кропотливо кроились эти чехлы, которой не превращал бы в катафалк этот над ней колеблющийся балдахин заглушенного плача.

А в горах, отдаленные вздохи которых проникали в окно, раскрытое настежь, в горах долго не могли пробудиться рассвета. Но вот его растолкали, наконец, и он потянулся, разминая иззябшие кости. Он встал сизобелою полосой и широко, как людоед, зевнув во весь рот, пошел своей обычной дорогой. Он приходил сюда из-за Рабенклине и страшно уставал, пройдя натошак семь миль пешком по совершенно безлюдной и еще темной почтовой дороге. Приходил усталый и невыспавшийся, с толстыми налипками сырого дорожного песку на подошвах сапог. Он останавливался обыкновенно у окна, пожирая большими голодными глазами все, что находилось внутри, в столовой. Он был большой охотник до сыру, не прибранного с вечера, и был мастер строить глазки мышатам, похожим на хлопья теплой сырой ваты. Хозяев же он отроду в лицо не видал.

Как же удивился он сегодня, когда, чаля к окну, он нашел его раскрытым настежь и вместо мыши за стеклом застал свечу, горевшую на воле, — потому что и столовая была на воле, и от нее пахло улицей — и потому, что вслед за рассветом в столовую потянулись гуськом его раздушенные окольные сады, огороды, далекие торфяники и еще более далекие горы; и огонь на свече, опытый таким множеством таких радостных пространств, салютуя им, взволнованно схлынул со свечки, волоча за собой фитиль. Схлынул, отдал на караул и занял вновь свой пост, бледный, осунувшийся и прямой как палка. Всю ночь напролет прогоревшая свеча умирала от усталости. Она уже не светила, и отнявшийся язычок расслабленного пламени рыбной холодной мертвою фирилкой плыл брюхом вверх по течению, заливаемый потоком предутренней прохлады.

Не успело утро сделать пару шагов по комнате, как оно столкнулось в дверях с теткой Аугустой, шедшей прямо на него со свечою в руке и его не замечавшей. Она закрыла дверь перед самым его носом, задула обе свечи и, громко вздохнув, прошла к брату. Так и осталась заветною заветная дверь.

А за заветною дверью, в спальне, — в комнате, где висли до полу самые пышные и тяжеловесные кисти и банты чехлового плача, — вот что происходило в этой комнате, при спущенных занавесках.

Здесь находилось тело ребенка и развалиной над ним мрела и реяла мать. Когда-то вскормившая его собственной грудью, теперь она кормила собственную грудь, корчившуюся от голодных судорог, изобильными подачками от щедрого своего горя. Ненасытная, как ополоумевшая сука, она догола уже изгрызла клыками тоски все, что могло идти в пищу ее страданью. И — ни на востроносом личике ребенка, ни в собственных ее воспоминаниях не было уже ни одной такой черты, которая избежала бы укушения: все было отравлено вокруг, все обглодано, а бешеный голод ее

терзаний не желал уняться. Перебирая в памяти еще нетронутые подробности былого материнства — она заметила вдруг в углу какую-то игрушку. И с новою, удвоенною жадностью она впилась в эту вещь. Это была деревянная лошадка, припасенная для мальчика Аугустой; ему так и не пришлось порадоваться подарку. Он так и не увидел ее, бедный, удушье... — Господи, да что же это такое! — — О!

И в самом деле, вид этого существа вымогательски исторгал слезу.

Всю ночь лицо его освещалось бледным светом смерти. Смерть как будто нарочно светила матери так, чтобы пучок лучей из ее омерзительной площадки падал только на крошечное личико ребенка. Лицо это было единственно бледною вещью во всей комнате. Оно сразу бросалось в глаза и ужасало своей белизной. Кончающиеся в белой горячке видят часто в предсмертном бреду, вот уже который век, одну и ту же голову гильотинированного, повязанную салфеткой брадобрея. Голова ребенка, вес которой можно было определить на глаз, потому что это была мертвая голова, отлитая из белой сальной массы так, как брус фунтовой свечи отливается из фунта белого воску, голова эта, расставаясь с жизнью, этим богатейшим собранием всевозможных улыбок, ужимок, гримас и усмешек, выбрала себе на дорогу в загробный мир одно только выражение детского испуга. Оно не сходило с воскового личика и в дороге, за неимением другого под рукой, этому выражению не предвиделось смены никогда, никогда.

А в детской стояло множество игрушек, и столько ужимок и радостных гримас сохранялось в воспоминаниях матери, что ее подмывало сбегать куда-то и дать ему еще что-нибудь на дорогу, что-нибудь нужное и такое, что может пригодиться ему там, — дать ему, пока еще не поздно, пока он еще здесь, потому что скоро станет поздно, поздно навсегда, невозвратно поздно.

И она металась. Как! Оставить его теперь, когда он будет без призора и один-одинешенек. Предоставить ему такую свободу и самостоятельность! А ведь бывало, она умела утешать его, когда их разделяла какая-нибудь переборка, и когда ей стоило перебежать всего коридор только, чтобы поспеть как раз вовремя к нему. Сейчас же, когда их отымут друг у друга и всего его, с глазами, и ручками, и со звонким его голоском, закопают в землю — оставить, оставить его неутешенным, перепуганным и растерявшимся.

Если бы были думами эти немые и истерические вскрикивания материнской души, мявшие и безобразившие ее грудь, как складки отравленной сорочки, — если бы мозг ее мог совладать с ними, — мысль о самоубийстве пришла бы ей в голову как напутствие, ниспосланное свыше.

Но она не думала ни о чем или не знала, что истерические мысли, как слепые, бледные черви, неумно вьются и бесятся в ней. И червивая ими, обессилив от рыданий, она опала лицом и телом. Руки, как чужие, повис-

ли у ней, и, глядя куда-то и ничего не видя, она мешковато и неуклюже отдалась тихим слезам, которых она уже не чувствовала и которые лились без ее ведома и согласия на то, лились лениво, сами по себе, растекаясь по всему давно уже мокрому ее лицу.

Эти новые слезы делали с ее чертами то, что делает со всяким видом лобное дождливое, непогожее время, заволакивая его своей плачевной сеткой. Откуда-то издалека пригнанные, тянущиеся куда-то вдаль, слезы эти туманили и искажали ее лицо, растянув его в маску какого-то давно, давно бессмысленного и надолго затупившегося недоуменья. Покойник был в мать: стоило только взглянуть сейчас на обоих.

В это мгновение дверь полуоткрылась, и с порога, не заходя в комнату и не глядя на жену, органист тихо, сдерживая себя, сказал ей: «Выйди. Дай мне побыть с ним одному».

— Амадей, ты! И теперь, Амадей!.. — бессвязно воскликнула жена, поднимаясь с места с каким-то порывистым движеньем. Но она не кончила, — силы оставили ее, она зашаталась и упала на руки подросшей к ней Аугусты, которая, поддерживая, вывела ее из комнаты. Органист приотворил за ними дверь и медленно приблизился к телу сына. Он сел в кресло, только что оставленное его женой. Он подпер правую рукой голову и другою рукой, с движениями левши, стал гладить по-праздничному принаряженное тельце.

Кнауер закрыл глаза. Он не знал, что вот уже тринадцать часов скоро, как он — тронувшись, и что это случилось там же, во внутреннем аппарате органа.

Кнауер находился в положении человека, впервые самолично, не от других — узнавшего, что у него есть душа. Он ощущал ее и чувствовал, где она, потому что она у него болела. В ней творилось что-то, что напоминало ревматическое перерождение сосудов (при склерозе); как мышечная мякоть, душа ожесточалась у него и медленно нарывала. Тугая, вплоть прилегая изнутри к каждой полости его тела, она бредила, как бредит всякий болезнетворный орган. Она бредила и до размеров бессовестных и маловероятных преувеличивала свои собственные размеры, на деле не изменяя их, как, не изменяя собственных размеров и не выходя из челюсти, зуб с дуплом растет до кошмарной бесконечности, выращая за собой и по себе сумасшедшую басню о челюсти Голиафа. Но Кнауер не терял равновесия. Душа шевелилась в нем, как солитер. Но это был солитер вездесущий. И человека не тошнило от сокращений его души только оттого, что каждую частицу его тела тошнило ее особой тошнотой; эти разновидности тошноты взаимно погашались друг другом. И в итоге человек, охваченный тошнотою, не испытывал головокружения только оттого, что тонул в нем, соблюдая закон удельного веса в этом омуте души, осязательной и, следовательно, тошнотворной.

Но как он вздрогнул, когда сквозь темную толщу своего забвения он

заметил, что делает с телом ребенка тайком от него его собственная левая кисть! Он поспешно отдернул ее. Он оторвал ее от тела сына так, как отрывают всползшую гадюку или как, обжигаясь и дуя на пальцы, убирают каминную головешку с ковра. Рука ласкала сына в октавах: она брала октавы на нем.

Органист выпрямился, нагнулся, поцеловал мальчика в лобик и пошел к двери. Он остановился у порога и оглянулся, что-то припоминая или сясья что-то сообразить. Потом повернулся назад, вновь подошел к телу, вновь нагнулся и поцеловал его, продлив этот поцелуй на целую вечность дольше, чем в первый раз, оттягивая на непозволительно долгий срок исполнение какого-то ему одному известного и по всему потрясающе торжественного решения. В течение всего непозволительно долгого этого мгновения он старался перевести что-то со своих губ на восковой лобик мальчика, а вместо того свел с воскового лба себе на губы пленку холодного налета, как сводят туманные картинки с мокрого листа на сухой. Потом, поднеся платок к глазам и крепко закусивши губы, органист стремительно бросился вон из комнаты, быстро прошел в прихожую, схватил шляпу и выбежал наружу, не затворив дверей за собой.

Сырое утро накипью взбежало на его глаза, откипело на них, осушило их. В голову ударили: дерн, сирень, прогорклость тополей, пыльные дождевины. И были птицы. Они щебетали. Щебетали. Он слышал их. Все время — их.

С этого дня больше его в городке не видали. Как похоронили маленького Готлиба, отец так никогда и не узнал.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I

— Ну, что, все нет еще? Не воротились?

С такими и подобными вопросами обступали нетерпеливые путешественники смотрителя Шлиппе, каждый раз как он, стараясь умалиться в размерах, на цыпочках проходил через громадный и сумрачный зал почтовой станции к себе, во внутренние покои. Тогда он останавливался и, подымая обе руки с вывернутыми наружу ладонями, словно готовясь отразить чей-то натиск, громким шепотом отвечал:

— Нарочный еще не возвращался. У Лемке лошадей нет, справлялись. А на станции, вы уже знаете, ни одной, — их высокопреподобие со свитой всех разобрали нынче, вы разминулись с ним — прогон велик, вам придется ночевать, господа.

— Не в ночевке дело, господин смотритель, — в десятый раз повторял господин в парике и ботфортах, — многие из нас, не правда ли, — продолжал он, обращаясь к молодым, совершавшим свое свадебное путешествие; — многие из нас, — продолжал он, улыбаясь так, словно бы он уличал смотрителя в невежестве, — многие из нас не ездят, не останавливаясь на ночь в гостинице; но мы могли бы в Трейзе заночевать, меж тем как мы даром потеряли десять часов, десять часов, господин смотритель, — но к концу такой или подобной речи смотритель, крадучись, добирался до порога внутренних своих апартаментов; и с порога же, разводя руками, громким шепотом отвечал, адресуясь ко всей зале, как к лицу государственному:

— Делать нечего, господа, их высокопреподобие, — и исчезал, изнутри замыкаясь ключом от нетерпеливых путешественников, которые жались по углам и казались крошечными и невзрачными, оттого что зала в четыре окна на улицу и об двух круглых люках на двор была огромна и пуста, и застарелый сумрак стоял серыми воздушными столбами от полу до потолка в ней, и сумеречная эта колоннада, не сходя с места, двигалась на них, и не было лампы, которую можно было бы поставить между ними и ею. А на дворе бушевал дождь. Почтовая дорога, бушуя каштановым обсадом, протащив по полю через ревучий летний дождь это шумное пышное свое одеяние, круто сворачивала на всем разбеге прямо на почтовый двор, и семиверстный шлейф ее с размаху разбивался об пять стекол полого зала; и когда сверкала молния, то, как лапки гальванизированной лягушки, содрогались все жилки и трещины под серый мрамор выкрашенных стен, и в воротах вскакивали бледностью облицованные чистые лица, похожие каждое по-своему на плоский месяц; и когда сверкала молния — взглянуть в окно, — только сверкнет, и жилистое небо обольется мутными и черными ручьями; негашеная известь полетит из него, и, словно мыльную водою из шаек охлестывая небо, споласкивают его и раскатываются, друг друга нагоняя, волны обмылков.

У шестерых при каждом небесном выкрене вскакивали над воротниками белые лица. У человека в парике и ботфортах. У молодых: < >

А дождь шел с удвоенной силой. Горластый, он захлебывался уже в половине листвы, и листья давились им и заливались закатывающимися воплями. На дворе шум бушующих масс был роскошен и шумен, как обожание. Но все же, когда до ворот почтового двора докатилось < > громыхание камня, шестеро путешественников отличили его от раскатов грома, которыми это громыханье было напугуемо и в которых оно запуталось, вырываясь из них гулкими усилиями двенадцати подков, тяжелых, как молоты.

Остальные говорили о близости отдыха и сухой постели с предвкушением блаженства в тоне, которому мешала развернуться всюю только та опасливая предусмотрительность, с которой опускали свои ноги на мокрые плиты, боясь оступиться или наступить на что-нибудь живое в

темноте, которую сбивал в крутые комки качающийся фонарь проводника, ее не рассеивая. Остальные говорили также и об удивительной <случайности>, отклонившей громовой удар от обоих путешественников, и тогда молодой человек, шедший об руку со стариком следом за слугою, оборачивал голову и, обращаясь к разночинному хвосту шествия вообще и ни к кому в особенности не обращаясь — мало разнящиеся днем, они совсем сливались в одно подмокшее пятно, — ронял несколько учтивых слов, несколько отставая от слуги и заставляя прочих тыкаться носками в пятки его башмаков.

Говорили также, позволив себе свободу в выборе предмета для бесед в присутствии такого <человека>, о красотах городка и великолепии <мокрой>, как воробышек выкупавшийся, охорашивающейся черной зелени.

— Скажите, — обратился старик к слуге, — все тот же ли... скажите, кто хозяин гостиницы?

— Вюрценау, — промычал слуга, — а вы что, с ним знакомы?

— Нет, нет. Но я — мне говорили — я думал, что Маркус.

— Маркус? — подхватил слуга, — да это прежний владелец, — он помер... в девя... в десятом году, постойте, да, да, десять лет тому — это когда французы — лихой был день, летом, — как сейчас помню — пыльно, ветрено — ветер пылом обдавал — спадет, пыль поляжет, деревья замрут, — слышно: паф, паф, треск ружей со стороны Кронверка, ну да вы не знаете — сонный такой, знаете, треск, так, через пень колоду, как брань послеобеденная. Совсем не страшно было, ну, как на кухне тут, рядышком, шаг и взойти, мясо бы рубили или кастрюлями ляскали, полдень был, на улице ни души, но только что ветер был ужас какой и очень горячий, спадет только, и вдруг дымом пороховым щекотно и горько так потянет, и слышно явственно: паф-паф < >, относило все это ветром, прямо туда дул, это я сейчас все соображаю, тогда не понимал, мал был еще, годов девять мне тогда было. Город опустел. Да, так о чем это, ах да, Маркус. В тот день утром его похоронили, а вечером уже французы в город вошли и с месяц в гостинице хозяйничали, а потом только Вюрценау...

— Как он хорошо рассказывает, Георг.

— Хорошо? Удивляюсь, право. Сплошная бессвязность! И этот стиль!

— Что вы?

— Ничего, продолжай.

— Вюрценау — отделал ее — заново. Что это вы, сударь, на дома стали заглядываться, знать, вы бывали уже здесь, вот вы и Маркуса понянули? А?

Старик не отвечал. Он боролся с каким-то волнением, которое рвалось вперед и чего-то ожидало от правой стороны улицы, противоположной той, по которой они шли; оно не в силах было держаться в той полосе, которая падала от фонаря и вела, и когда в эту полносветную полосу

мгновенно и без предупреждения вкралось громадное, громоздкое и целое подножие готической церкви, и, как желтую речку вброд, не пошевелившись ни единым камнем, перешло ее, плавя по желтому плитняку и с половины, грудью и маковкой кутаясь в ночь, когда, говорю я, <она> совершила свой переход через желтую полосу, старик стал чудить как-то: он произвел громкий и сухой звук гортанью, и гласная, против воли вырвавшаяся у него, была похожа бы на смех, если бы своею краткостью она не напоминала щелканья языком или неодоленной икоты. Затем он остановился и, решившись, очевидно, высморкаться непременно на этом месте, вынул из старомодного сюртука носовой платок. На полдороге между полой сюртука и носом вытянутая рука его задержалась в воздухе, и платок выпал из нее на землю.

— По-подыми, — раздались в тишине шесть распадающихся костлявых слогов. Конюх поставил фонарь на землю и поднял платок. Он передал его старику, смотря на него с удивлением.

— Что с вами?

Но старик оторвал уже подошву одного сапога от намагниченной плиты, ступил еще раз, и шествие двинулось дальше.

— Ради Бога, что с вами! Вас так напугал случай с лошадыю?.. Нельзя же, право. Успокойтесь. Не думайте об этом. Думайте о чем-нибудь другом. Давайте заговорим о более веселом чем. Да вот, кстати. Вы ему так и не ответили, откуда вам Маркус известен, которого хоронили под стук кухонной посуды в жаркий летний день при ужасном ветре? Нет, серьезно, не смейтесь, пожалуйста, — говорил <юноша> старику, который не слышал слов своего воспитанника и передвигался так, как будто каждый шаг стоил ему сознательных усилий и предпринимался им с обдуманнным намерением. Юноша стал трясти его за руку. — Да проснитесь! Ну, вот. Вы уже проезжали здесь когда-нибудь, по всей вероятности? А?

— Я? — Эдесь? — Да.

— Ну, вот. А я ведь и не знал этого. Но в таком случае, почему же вы ни за что не соглашались остановиться здесь проездом, тогда, до грозы, в карете?

А волнение старика рвалось вперед. Оно сразу замерло только в тот момент, когда проводник свернул влево, дав фонарной полосе слизнуть по широкому кругу перекресток. Тут старику стало немного легче. Волнение его запомнатовало или упустило из виду, что для того, чтобы попасть в гостиницу <«Шютценпфаль»> с улицы Св. Елизаветы, сворачивают в сторону на углу Елизаветинской и Рыночной. <...>

— Тть! А гостиница ведь переполнена, — досадливо произнес слуга, когда в конце улицы, отлого спускающейся к реке, показалось покривившееся и мрачное здание, все окна которого были освещены. — Взгляните сами, везде свет. Ярмарка скоро, ну и понаехали. Теперь, по-

жалуй, и сами дорогу найдете. А я назад пойду, домой. Доброй ночи, почтенные господа мои.

И <слуга> пошел в обратный путь, в пояс поклонившись знатному юноше.

— Ну, как-нибудь устроимся, — заговорили <путешественники>, когда какая-то боковая улочка легко глотнула удаляющуюся полосу и они очутились в темноте.

Послегрозовое небо, бодря <кроны> деревьев, выравниваясь по стрелю с величавой и возрастающей быстротой, дыша полной грудью, катилось, <не разбирая> направлений, по нему неслись, нахлобучиваясь друг на друга, растерзанные и терзающиеся клочки былых облаков, как остатки флота, где-то, не здесь потерпевшего поражение; там, где шелуху былого этого великолепия смывало какой-нибудь водокрутью, — может быть, в этом месте какой-нибудь заоблачный ключ округло вливался, исчерна-ясный и холодный — там, в гирле холодного этого втока, показывалась звезда, острая и ломкая, когтистая и блистающая, как вскрытая раковина с жемчужиной на перламутровом дне, твердая и режущая, как алмаз стеклореза; это были места наиглубочайшей черноты и наибольшей холодцом вокруг сверкающего зубца колыбающейся глубины.

— Что ж мы остановились? Опять из-за вас, добрейший Амадеус?

— Да, среди нас — дама! — обернувшись к хвосту группы, громко и певуче произнес молодой дворянин. — Если в гостинице окажется местечко, — я уступаю мою долю нашего общего права на ночлег, господа, Madame...

— Шерер, — но моя жена, благородный сударь...

— Madame Шерер и ее супругу, конечно, что необходимо следует из... *parдон*, обоюдного их обстоятельства.

— *Mille grâces, Monsieur*¹, но я и муж мой... не рассчитываем, право...

— Оставьте, оставьте, пожалуйста, это решено, Madame, Madame Шерер.

— Но вы-то, вы, господин Амадеус. Что вы на это скажете? Вы, впрочем, отдохнете, тоже отдохнете, не пугайтесь; да что с вами, наконец; ну так, ну, слава Богу; мы об этом позаботимся, не правда ли, господа, и у вас будет где отдохнуть.

— Они так взволнованны, — конечно, мы все рады, — *oh le pauvre, dieu le benit*² — однако...

— Ну вот, мы и у цели путешествия, господа. Какой шум там. Где же, господин Амадеус, господин Амадеус, где колотушка здесь?

— Позвольте, молодой человек!

¹Тысяча благодарностей, сударь (фр.).

²О, бедный, — Бог да благословит его (фр.).

— Погодите, я сам найду, господин Шерер, — мой наставник господин Амадеус — у вас огниво — ну? А, вот доска! Раз, два, три! Сильней нельзя, кажется, идут. Послушайте, господин Амадеус, я вас не узнаю сегодня.

Шорохи и звуки в гостинице дремали в эту пору, как бывает в домах, где много спящих, и безразлично сколько — борющихся с одолевающим сном, и где бригада сновидений наводит оцепенение на все кругом, и слепо, мимо идучи, и на бодрящихся. Шорохи гостиницы? Их немного. Неизвестно, где кегельбан. Далеко ли до кегельбана — или он рядом через одну пустую комнату. Место нахождения бильярдной тоже неясно. В той зале, куда попадают, пройдя через мудреные, закоулками крадущиеся сени и прихожую, — в зале тикают стенные часы; маятник за стеклом; качаясь, он засекает залу тиканьем, частым и мелким, как просо; но кружком он замахивается так мертво и скучно, словно это зануженная, ноющая рука сеятеля к вечеру севного дня.

По соседству или через несколько комнат однообразно на аптекарских весах отвешивают скрупулы наглухо укупоренного гула. Там играют. Там играют и, возможно, громко говорят об игре. Там катают тяжелые шары, и шары ударяются об лаковое дерево, и галдя бултыхаются на пол круглые кегли. Вслед затем там подымается явственное шарканье; а за шарканьем сразу воцаряется паралитически затекшая тишина. Там, по соседству с залой или через несколько комнат, громко и заразительно зевает игра. И может быть, разговаривают о сощелкивающихся шарах. Но голоса наглухо закупорены; они опечатаны синим табачным дымом и догорающими лампами, они упакованы в опилки тиканьем часов и сновидениями спящих во втором этаже. Голоса, вслух следящие за шарами, опечатаны, наконец, и поздним часом; как опечатываются места происшествий. А в эту ночь чем не место происшествия гостиница, чем не место происшествия она, если происшествие — громкий троекратный стук снаружи, с улицы — и долгая пауза затем, и вновь, более настойчивый и совсем оглушительный стук по двери, топотание башмаков по коридору, лязг замка и кулачная свалка голосов на пороге, где одному, сном расслабленному, в пухлой охриплости валяному голосу приходится иметь дело с целой капеллой голосов с улицы, с холоду, со льда, свежих и освежающих.

— Тогда как же...

— Да нет, милейший, я не привык разговаривать с трактирным слугой, где, как бишь его, этот Маркус?

— Бюрценау, Георг.

— Да, Бюрценау. Позови своего хозяина сюда.

— Да уж не знаю, право.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



ЭТОТ СВЕТ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Подвал дома номер двадцать дробь тринадцать по Нижнему Краснокладбищенскому, обращенный в бомбоубежище. Горы стружек вокруг нар и перегородки из свежего леса. Сидящие и спящие на нарах и на полу. Затихающий и усиливающийся гомон за перегородкой. В промежутках храп и взрывы смеха. Постановыванье раненого НИКОЛЬСКОГО.

ФУФЛЫГИН. В семь часов объявили, что я свободен, и велели взять вещи.

Я пошел к себе на Старые Лешаки. [Дорогой попал в воздушную тревогу — и вот застрял тут на целый месяц.]

ВЕЛЬЯМИНОВ (*заикаясь*). За что вы сидели?

ФУФЛЫГИН (*с гордостью*). У нас было семьдесят человек в камере, и среди них ни одного преступника.

ВЕЛЬЯМИНОВ отходит закурить к другой группе.

ПТИЦЫНА (*на нарах, приподнимаясь на локте*). Который час?

МУХОМОРОВА (*С других нар*). Три.

ПТИЦЫНА (*зевая*). Разгавделись. Нельзя без гвалта.

СЕСТРА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (*за перегородку*). В самом деле, потише, товарищи. Раненые.

Внезапная тишина.

ЩУКАРЕВ (*мурлычет, копаясь в мусоре, что-то подбирая с полу и отбрасывая*).

Куточка-цесарочка да без петушка,
Не заглядывайся, барыня, на меня на ямщика,
Не заглядывайся...

Тьфу, проваленная. Доски обрезок. Я думал, какой сувенир.

Не заглядывайся, курочка, китайский кахихин,
На кушак малиновый, на синий казакин.

ВЕЛЬЯМИНОВ (*заикаясь*). Что, отец, делаешь?

ЩУКАРЕВ. Общепольным советским делом, батюшка, занимаюсь. Коммунальную блоху пасу, колхозной крапиве косу заплетая. *(Продолжает копать палкой в мусоре. Напевает.)*

Курочка-цесарочка, балкончик расписной.

(Нагибается, что-то подбирает и отшивыривает.) Ах ты, нечистая сила. Ну что ты скажешь. Опять обмишулился.

ВЕЛЬЯМИНОВ *(заикаясь)*. Ай что потерял?

ЩУКАРЕВ. Тут добра прятаного, — Бебельса этого можно бы купить со всеми хвастиками. Ты у Зачатьи служил, словно не запинаясь. Давно ли язык сломал, отец распоп?

ВЕЛЬЯМИНОВ *(заикаясь)*. А ты меня узнал?

ЩУКАРЕВ. Проповеди твои я слушал, обедни стоял.

ВЕЛЬЯМИНОВ *(заикаясь)*. Это у меня детское. А тогда я молодой был, женат, удачлив и выздоровел. А потом жена умерла, книгу я заветную писал, не дописал, вас, прихожан, разлюбил, сан с себя сложил. А потом пошел в сылку. И вот... *(в затаенушемся приступе долго не может выговорить)* оно вернулось.

ЩУКАРЕВ. Так. Стало быть, такая возвратная немочь. Так, так.

Вельяминов отходит к Гордону, читающему в стороне. К мужу подходит ЩУКАРИХА.

ЩУКАРИХА. Квартера настезь, кто хочет, входи, что хочешь, забирай. На кухне чисто какой клуб. Полно чужих, с вокзалу и с улицы. Так и шныряют, так и шныряют с чердака и на чердак. А если что скажешь, он тебе: я пожарный охотник, я за вас, может, жисть положу. А этот у них главный коновод.

К Гордону и Вельяминову быстро в большом оживлении подходит ДУДОРОВ. Он в одной жилетке.

ДУДОРОВ. Ну как?

ГОРДОН. Все благополучно.

НИКОЛЬСКИЙ. Ой, не могу. Ой, не могу. Ой, батюшки. Пропали. Погубил. Погубил.

ДУДОРОВ. Кто это?

ГОРДОН. Внесли в начале тревоги. Множественный перелом правого бедра. Хотел пешком к своим на дачу. За ним Надя ухаживает.

НИКОЛЬСКИЙ. Умудриться. В такое время. Бедные. Бедные.

ВЕЛЬЯМИНОВ. А наверху как?

ДУДОРОВ. Непередаваемо. Два смешных эпизода. Подожгли в двадцати местах сразу то тут, то там, непрекращающаяся пальба и взрывы. Вдруг замечаем, что промокли до нитки. Я говорю: чем он нас сверху поливает. Оказывается, гроза с проливным дождем, но по ничтожности незаметно. Молнии теряются в урагане зарев, а ливень не доходит

до сознания и кажется сухим. Другое. В квартире, где устроили курительную, выхожу из затемненной кухни в неосвещенный коридор. Вдруг вижу: в дальней, настежь открытой комнате женщина в белом перебегает от окна к окну, высовывается и машет из них кому-то руками. Я кричу, — гражданка, что вы делаете? Подбегаю и хватаю качающееся на сквозняке платье за пустой рукав.

ДРУЗЯКИНА (*Мухоморовой*). Грушка примеряла.

МУХОМОРОВА. А сама-то где?

ДРУЗЯКИНА. На полу сидит, дрыхнет.

Внезапный треск, сотрясающий все здание.

ЩУКАРЕВ. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоя.

ВЕЛЬЯМИНОВ (*без запинки*). Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и доброго ответа на Страшном судище Христове.

ЩУКАРЕВ. Поддай, Господи.

Вбегает КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ.

КИРА¹. Профессор, зажигательными забрасывает. Не хватает рук тушить. Просят помочь. Я за вами.

ДУДОРОВ. Иду. Куда это он громыхнул?

КИРА. Кажется, в товарный склад на вокзале. Трудно судить. Пламя обманчиво, все приближает.

Уходят.

ДРУЗЯКИНА (*встает с нар, одергивает и поправляет на себе юбку и платье. Потом снова садится на нары, подобрав под себя ноги, и с первых слов овладевает вниманьем ближайшей части, а потом и всего бомбуубежища. К концу ее слов перебирается на сцену половина публики из-за перегородки, и почти все спавшие просыпаются*). Вам все равно до отбою скучать, дорогие товарищи, так послушайте меня, глупую неученую девушку, видов я на своем веку видала много. Ну, конечно, я без папи, без мами выросла сиротой. Мой дедушка фабрикант богач Веревкин, из французов, кончился в незапамятное время при царе. Маменька моя жила в городе Барканлах за учителем гимназии Сахаровым. Он добровольцем на германскую войну ушел и как в воду канул. На десять лет. Когда он объявился с чужбины, я просто не могу вам сказать, от кого он узнал про меня и напал на след моей сущности, но только он забрал меня из бухтарминского исправдома, не поленился такую даль. Он всю жизнь потом

¹ Имеется в виду Кира Однофамильцев. См. далее.

был такой скучный. Вы сами войдите в положение, когда ворочается человек из плена и у него ни жены, ни дома и ничего знакомого кругом, а только все немилое и другое. Детей у него с маменькой было двое, сын да дочь, мои единоутробные. Они и сейчас живы, сестрица все знает, её маменька перед смертью покаялась. Сестрица у меня здешняя, пуштинская, ее муж в Сибирь уехал.

В круг слушателей вбегает КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ.

КИРА. Человек двадцать мужчин из желающих и здоровых [просят] наверх.

Вызванные, в их числе Вельяминов и Гордон, собираются.

КИРА. Довольно. Остановитесь. Вы можете потребоваться.

На Киру цыкают и машут руками — не мешай. Рассказ продолжается.

ДРУЗЬЯКИНА. Товарищи граждане и дорогие братцы и сестрицы. Теперь, как я вам про маменькину законную семью объяснила, я главное сказала, осталось пустяки. Я была у маменьки запретная в ее несчастной любви, по-другому сказать, незаконная. Мой папенька был скрывающий белый министр. Вот про что я сейчас рассказываю, это было за Крушицким хребтом на том конце казатчины, подальше к китайской стороне. Когда стали красные подходить к тамошнему главному городу Хрулеву, белый министр посадили маменьку со всей ее семьей на отдельный поезд, ведь она без него не смела шагу ступить. А про меня он даже не знал, что я есть такая на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвела и смертью обмирала, как бы кто не проговорился. Он ужась этого не любил, чтобы дети, и кричал и ногами топал, что это, дети то есть, совсем лишнее, одна грязь и неудобство.

Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послала маменька за сторожихой Мехоношиной на разъезд Горную, это от Хрулева в трех [или четырех] перегонах. Ну известная вещь, дело детское: — подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. Ну, какая боль потом мое детское сердечко надрывала, лучше ни слова.

Двор был богатый, корова да лошадь, ну птица там разная, под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли и, само собою, казенная сторожка при самой путе. От моих мест поезд еле-еле к нам взбирался, а от вас из Расеи раскатывался шибко-шибко и надо было тормоза. Внизу, поздно осенью, когда лес не заслонял, видно было станцию Горную.

Самого, дядю Василия, я по-крестьянски тяткой звала. Он был человек веселый, но только очень доверяющий и под пьяную руку разбалтывал про себя всю подноготную. А сторожиху никак у меня язык не поворачивался назвать мамкой. Маменьку ли я свою помнила

или еще почему, только чувствовала я, что она мне чужая, и звала ее тетей Марфушей.

С флаком я тогда уже к поезду выбегала. Лошадь распречь или за коровой сходить было мне не за диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Да, забыла я сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был сухие ножки, трех годков лежал, не ходил, нянчила я Петеньку. Сколько лет прошло, мурашки пробегают, как смотрела тетя Марфуша на мои здоровые ноги, шипела: испортила я Петеньку, значит, сглазила, вы подумайте, какая бывает глупая злоба.

Теперь слушайте, что будет дальше, главное я сказала, осталось пустяки. Тогда неп был, тогда тысяча рублей ходила в копейку, продал Василий Афанасьевич внизу корову, набрал два мешка денег, — назывались лимоны, — выпил и пошел про свой капитал по всей Горной звонить.

Помню, ветреный был день, осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет [лесом] сверху старушка странница, ветер юбку и платок треплет. Идет странница, стонет, попросилась в дом. Положили ее на лавку, — ой, кричит, живот подвело, смерть моя пришла, и просится, отвезите меня, Христа ради, в больницу, заплачу я. Запрет тятенька Удалого, положил старушку на телегу, повез в земскую больницу, от линии в сторону, далеко.

Долго ли коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Тетя Марфуша раздула огонь, кофту накинула, не дожидаясь тятенькиного стука, идет откидывать ему крючок. Откидывает крючок, а там, видит, совсем не тятенька, а входит большой чужой мужчина черный. «Покажи, где, говорит, за корову деньги. Я, говорит, мужа твоего в лесу порешил и тебя, говорит, бабу, не пожалею, ежели будешь вилять. Мне некогда, говорит, с тобою. Так ты смотри, не волынь. Ой, батюшки, дорогие товарищи, [про себя] сами сообразите, что с нами сделалось, я просто слов не подберу, какие страсти. Тетя Марфуша сначала ему в ноги кинулась. Помилуй, говорит, знать я не знаю, ведаю не ведаю, какие, ты говоришь, деньги. Ну да разве от него отделаешься словами? И вдруг у ней мысль, как бы его перехитрить. Под полом, говорит, выручка. Лезь, говорит, под пол. Ну да ведь и он не лыком шит, чтобы ему в капкан голову совать, лезь, говорит, сама. А она говорит, мне, говорит, неспособно, я тебе посвечу, ты, говорит, не бойся, я вот вместе с тобой дочку спущу, это, стало быть, меня.

Ой, батюшки, как я это услышала, у меня в глазах стало чисто как ночь, и я чувствую, падаю, подкашиваются у меня ноги. А он, злодей, на нас обоих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалится, усмехнулся, видит, что не родные, и хватъ Петеньку на ру-

ку, а другою за кольцо открывает лаз, — свети, говорит, и сам с Петенькой вниз. И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда порченная была и в повреждении ума. Наверное, она тогда в разуме повредилась, в ту самую минуту, когда вместо мужа чужой вошел и старуха разбойником оказалась. Только он с Петенькой под выступ ушел, она творило, то есть это крышку хлоп и на замок, и тяжеленный сундучище на него надвигает, мне головой кивает пособить, и сама на сундук. Села она на сундук, радуется. Только она на сундук села, снизу ей разбойник в пол стучит: дескать, отвори, а то буду сейчас твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстую доску не слышно, да в словах ли дело, он голосищем пужал, как лесной зверь. Да, говорит, сейчас кончать твоего Петеньку буду. А она ни бровью и даже не почешется, мели, мол, Емеля. Ну стучит он в пол, стучит, время-то и идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает.

По прошествии время, — ой, батюшки, ой, батюшки, всего-то я в жизни навидалась, натерпелась, такой страсти не запомню, — Петенька из-под земли голосок подал, бедная его ангельская душенька, — загрыз ведь он его. Ну что мне делать, думаю, что мне делать с кровопийцем душегубом этим и старухой полоумною? А время-то идет. Только я это подумала, под окном Удалой заржал, нераспряженный ведь он стоял, да. Заржал Удалой, словно сказать хочет, давай скорей к добрым людям поскачем, помощь позовем. А я гляжу, дело к рассвету, и радуюсь. Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, давай слетаем. И только я это подумала, слышу, словно опять кто из лесу. «Гашенька», паровоз снизу свистком позвал, я этот паровоз знала, он в Горной всегда под парами готовый стоял, товарным на подъеме помогать, а это смешанный шел, каждую ночь он ходил, — слышу, стало быть, снизу знакомый паровоз. Слышу, а у самой сердце прыгает, нужли, думаю, и я, как тетя Марфуша, тронулась, со мной всякий зверь, всякая машина ясным разговаривает русским языком.

Ну да думать уж тут было некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку. Ну что сказать. Остановила я поезд, спасибо, он из-за ветра тише прочего шел, ну просто сказать тихим человеческим шагом. Остановила я поезд, машинист знакомый, машинисту говорю, товарищ, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, пожалуйте, помогите. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы прыг на полотно, воинский был поезд, прыгают, смотрят, что за притча, поезд середь лесу на подъеме затормозил. Ну что сказать, узнали они, какие в сторожке случились страшные дела, вытащили его на шпалы, руки и ноги к рельсам привязали и по нем поезд провели, — самосуд.

Я уж в дом даже за одежей не ворочалась, так мне было боязно. Попросилась, возьмите, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на по-

езд, увезли. Я потом, не совру, полземли объездила с беспризорными. С поезда железнодорожник сошел казенное имущество принять, и тети Марфушину жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме кончилась.

Друзьякину обступают. К мужу подходит ЩУКАРИХА.

ЩУКАРИХА. Чудеса в решете. Бонба не бонба, а штукатурка на полу, в зеркале дырки. Пульки, понимаешь, пульки, как все равно октябрьский переворот.

ЩУКАРЕВ. Не может этого быть, темная, бессознательная личность, — октябрьский переворот. Немец это, усовершенствованный, восемьдесят тысяч тонн. А она — пулька. *(Пробегаящему в волнении Кире Однофамильцеву.)* Эй куда ты, беспутная балмошь?

КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ. Дедушка Сысой, ты не поверишь, что я тебе сейчас скажу. Я сейчас в настоящем сражении из винтовки стрелял.

ЩУКАРЕВ. Отчего не поверю. Как ты есть противовоздушный п. в. о, так у тебя всякую ночь сраженья.

КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ. Да я не про тушенья. Саперный десант они сейчас спустили, слышишь? Понимаешь ты это слово: десант?

ЩУКАРЕВ. Отчего же, парашуты и парашутики, это понятно.

КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ. К нам целый стрелковый взвод пришел. Во все этажи. Вот я мужчин на чердак вызывал. Я попросил, мне тоже дали пострелять. Нам объяснили, немцы на вокзале. Час мучились, теперь выбили. Хотели из пушек — нельзя, слишком близко.

ЩУКАРЕВ. Ах ты, пустомеля, что ты языком стучишь, барабанная строка?

КИРА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ. Ей-богу, не вру, после отбоя увидишь своими глазами. Живые немцы убитые на земле, честное слово. На мостовой. Очень красиво.

Новые лица сверху, в их числе ГОРДОН в надетом только в один рукав пиджаке.

ГОРДОН. Перебинтуйте, пожалуйста, Надежда Константиновна. Ну, доложу вам, фантазмагория. Вы ахнете. За этот час прошла вечность. Если бы вы знали, на какой волосок от смерти, плена и самых неслыханных перемен были все вы тут в подвале еще тому назад минут двадцать.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. Значит, это правда? Десант? Уличная стычка? Мальчик рассказывал.

ГОРДОН. Ну, я б этого не назвал стычкой. Пожалуйста, пожалуйста. Я морщусь не от боли. Это были не шуточки. Убит Подбельцев. Тяжело ранен мой племянник Мышеловский.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. А Ремешков, а Бастрыкин?

ГОРДОН. Оба невредимы.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. Откуда вы знаете? Ведь они по ту сторону площади, за вокзалом.

ГОРДОН. Ну, тут такое творилось. Все перемешалось. Дивизиону пришлось поработать не по роду оружия, а в качестве уличных стрелков.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. Согните руку. Не больно?

ГОРДОН. Нет.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. Разогните.

ГОРДОН. Отдает в плече. — В военных делах я невежда, но видели бы вы стройность, с которою они оттянули свои силы, едва увидели, что их рассеют. У них где-то рядом операционная база. Судьба Пушинска вопрос дней.

НАДЯ ЭНГЕЛЬГАРТ. После отбоя обязательно на рентген. Обещаете?

Сигналы отбоя.

ГОЛОСА СНАРУЖИ. Отбой, граждане. Отбой.

ГОЛОСА В БОМБОУБЕЖИЩЕ. По домам, товарищи, отбой.

Все устремляются к выходу. Давка. Голоса. Оживление. Опустевшее бомбоубежище без цели обходит ЩУКАРИХА, замечает спящую Груню Фридрих и удаляется. В бомбоубежище спускается Дудоров.

ДУДОРОВ. Ну вот. Это их первое предупреждение. Не сегодня завтра они вступят в Пушинск. Куда, однако, подевал я пальто и шляпу? Помнится, я снимал их здесь. [Они могут нагрянуть к вечеру. Может быть, это мои последние слова по-русски. Может быть, еще до наступления ночи уши мне зальют немецкой речью. Куда, однако, девался Вельяминов.] *(Заметив просыпающуюся Груню.)* Ах, это снова мы. Доброе утро.

Груня Фридрих *(вздрыгнув)*. Теперь узнали?

ДУДОРОВ. Мы встречаемся с вами по два раза в сутки. Кто вы?

Груня Фридрих. Я шофер Груня Фридрих.

ДУДОРОВ. Вы немка?

Груня Фридрих. Да. Беспартийная немка.

ДУДОРОВ. То есть как это?

Груня Фридрих. Не гитлеровка.

ДУДОРОВ. Еще бы. Я думаю. Да и я не глухой. Sind Sie Wolgadeutsch?¹

Груня Фридрих. Не понимаю. Я пошутила. Я дочь дворника. Говорят, мы из палихинских крестьян.

ДУДОРОВ. Странно. Почему же немецкая фамилия?

Груня Фридрих. Какая-нибудь барская блажь. А то еще отец говорит...

Впрочем, это, верно, враки.

ДУДОРОВ. Что именно?

Груня Фридрих. Будто дедушкин дедушка был из казаков...

ДУДОРОВ. Ах да. Догадываюсь. Это насчет венгерского похода?

¹ Вы немка Поволжья? *(нем.)*

Груня Фридрих. Вы это слышали?

Дудоров. Да. Казаки записывались по именам занимаемых городов или домов, в которых квартировали, и старались, как бы позаграничней и почудней.

Груня Фридрих. Вы все знаете. Помните, вчера ночью...

Дудоров. Пойдемте. Смотрите, как вы мне пальто смяли.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Клочок земли на опушке многоверстного Палихинского леса. В глубине за деревьями жилой дом Дудорова. На опушке поближе к зрителю два-три служебных строения. Сцена представляет собою край картофельного поля с двумя садовыми скамейками, одна против другой, на переднем плане. Отсюда дорожка через лес на станцию и к пруду. День с переменной погодой конца октября. Был снег, теперь ветер и ясность, снег может каждую минуту повториться. В дальнем конце поля, у служб, два костра, серо-сизый дым которых гонит на рассыпанную мокрую картошку. Там возятся перепачканные землей и глиной Дудоров, Гордон, Вельяминов, лесник Федот и еще какие-то фигуры. Все одеты по-зимнему. На одной скамейке Груня Фридрих, на другой Ванька Хожаткин, разглядывающий гитлеровскую листовку.

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Антисоветские выраженья. Комиссары и потом это самое беи. И еще *(считает по пальцам)* четыре раза жиды. А вообще мысли понятные.

Груня Фридрих *(безучастно)*. Ты дурак, Ванька.

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Ты скажи по совести. Ты ему любовница или просто рабочая единица?

Груня Фридрих. Ты, Ванька, болван и совершенный журнал «Крокодил». *(Поднимается со скамейки и вглядывается в глубь леса.)* Это что это перевозят?

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Полуклинику из Семибоярского. У них дом снесла антилерия, они попросились к нам в экономию.

Груня Фридрих. Так и ведь экономия, говорят, разрушена снарядом.

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Зачем. Это только старая церковь и контора, где об тебе бумаги нашлись.

Груня Фридрих. Ах, и ты это знаешь?

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. А как же. Говорят, у тебя обнаружился дедушка старый [царский] генерал и его разжаловали из дворян в солдаты. Только ты носа не задирай. Может, и обо мне что в земле отыщут.

Скручивает из клочка листовки и закуривает сигарку.

Ты скажи, какое твое психологическое настроение.

Груня Фридрих. Ванька, ты абсолютный Крокодил.

К ним подходит Дудоров.

ДУДОРОВ. Что же ты мне не сказал, что кормилец твой уехал.

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Совершенно верно, Иннокентий Иванович, уехал.

ДУДОРОВ. Третий день, говорят, уехал?

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Куды третий день. Ты лучше скажи, три недели.

ДУДОРОВ. Когда ж это он успел? Мне ничего не оставлял? На словах ничего не наказывал?

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Не обижайся, Иннокентий Иванович, ничего, как есть ничего.

ДУДОРОВ. А ты все, Ваня, куришь?

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Курю, Иннокентий Иванович, за твоё здоровье курю.

ДУДОРОВ. Ты бы лучше за моё здоровье картошки ещё покопал, да знаешь, поглубже. Я после тебя все подкапываю. Где три картофелины подберу, где пять. Да вот все такие клубни.

ВАНЬКА ХОЖАТКИН. Постараемся, Иннокентий Иванович. Это можно. А ты их железным заступом сечешь, они у тебя погниют.

ДУДОРОВ. Ну что ж ты опять сел? Тебя как репей надо от места отдирать. Ты бы пошел, хоть для виду, раз-другой помахал лопатой. Да постой. Вечерет. Костры заметно, надо тушить. Картошку, какая обсохла, в погреб, а сырую рассыпете сушить на полу в сарае.

Хожаткин переходит в дальний конец поля.

По-настоящему сейчас бы эту картошку надо всю в лесничество к дяде Федоту. Если мы и не окружены, то зимой будем в кольце и придется прятаться.

Груня Фридрих. Что же ты раньше не сказал. Я пригнала бы из города грузовую машину. Да не поздно и сейчас. Вот съезжу и пригоню.

ДУДОРОВ. Ты в город не раздумала?

Груня Фридрих. Нет. [Мне надо в город.] Сейчас поеду.

ДУДОРОВ. Но ведь я просил.

Груня Фридрих. Я рабочий человек, у меня служба. А тут ты ревнуешь ко мне Ольги Александровнино хозяйство и ни к чему не даешь приронуться.

ДУДОРОВ. Отчего женщины и слабые люди находят вкус только в жертвах, нарушении смысла и мелком принуждении, а естественное и самоочевидное ничего не говорит им? На наших глазах рушатся миры, наступает конец света, а ты только заметила, что мне не всегда приятно, когда ты переставляешь некоторые вещи или обращаешься с ними не совсем привычно. Допустим, это правда, и мне не хочется, чтобы на моих глазах ставили крест на жизни и деятельности человека, который мне не сделал ничего дурного. Имею я на это право или нет?

Груня Фридрих. Понятно, имеешь. Ну вот я и поеду, чтобы не мешать тебе.

ДУДОРОВ. Ты намеренно не хочешь понять меня.

Груня Фридрих. Довольно спорить. Я ничего не разыгрываю. На станции закрыли летний буфет. Ждать поезда на воздухе холодно и скучно. Вот я тут и сидела. А теперь мне пора. Напрасно ты беспокоишься. Ничего не случится. Я доеду как всегда.

Уходит в глубину леса к дому. К скамейке подходит Гордон.

Дудоров. Пока меня не было, опять, наверное, надрывался? Сколько тебе говорили? Когда позволит хирург, таскай хоть жернова.

Гордон. Зачем ты отпустил ее?

Дудоров. А ты попробуй останови. Зачем ты спутал меня с этим чертом?

Гордон. Иннокентий!

Дудоров. Вот тебе и Иннокентий. Конечно, сосводничал. (*Передразнивая Гордона.*) Какое сосредоточенное очарованье! (*Видно, как Груня с узлом спускается с крыльца и направляется лесом на станцию.*) Вот напорется, очарованье, на немецкие разьезды, тогда будет знать. Ты долго по ней будешь плакать?

Гордон. Откуда в тебе такая Достоевщина?

Дудоров. Я русский человек, мне приходят последние денечки, а в сумме это Достоевский, как такое-то вещество плюс такое-то дает синтетический каучук. Я от Оли сегодня письмо получил.

Гордон. Ну как они там?

Дудоров. Как бледно ты это спросил. Ничего. Благодарю вас. У вас кострице тлеет, милостивый государь, это вы называете светомаскировкой! Чем с больным плечом тяжести поднимать, пойди затопчи.

Гордон отходит в глубину сцены. Издали слышатся звуки похоронного марша. Дудоров поднимает голову и вглядывается вдаль, в сторону зрительного зала, где предполагается кладбище на холме за рекой. Направляясь туда, через сцену проходит Вотякова.

Вотякова. Я опаздываю, Иннокентий Иванович, и позволяю себе пересечь ваш участок без спросу.

Дудоров. Вы на похороны Птицыной?

Вотякова. Да. А вы не собираетесь?

Дудоров. Нет. Видите, мы заняты делом. Счастливая учительница. В такое время, когда людей порохом рвет и заваливает камнем, такой тихий, безмятежный конец. По-моему, ей сорока не было.

Вотякова. Ей было тридцать два года, Иннокентий Иванович. Вы ничего не слышали?

Дудоров. Нет. А что случилось?

Вотякова. Говорят, Пущинск и Пущинская область...

Дудоров. Ах, это! Это я знал уже на прошлой неделе, когда смолкла артиллерийская стрельба, и окончательно понял позавчера, с уходом наших танков. [До утра на шоссе стояло громыханье. Вы уснуть ухитрились? А в овраг все спускались да все лето жили в палатках зенитчики. Заметили, как все пусто, поломано кругом и помято.] Это-то я знаю. Этим вы меня не удивите. Наша армия ушла от нас верст на пятьдесят.

ДОКТОР ЖИВАГО



ПЕРВАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие Небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких, облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессив-

ную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвиняя ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развезал по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была ману-

фактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием «Живаго», и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику: «К Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридешатое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатыстое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обедненного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косялся, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямою бесхитростною натурой, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала впрямь под бречание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Николаевич. —

В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужичу дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегаящей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка просквашивало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пушу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имени жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных раз-

валин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять выничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оснопо изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам по-

священный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да Бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуешься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой, — молился Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини

мамочку в рай, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка, — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новоприятную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами была давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унасле-

дованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, когда он вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перевернутого это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластирем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупa, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они прыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы предполагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из пер-

вого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил ко своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати. Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему

шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Встало солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей», — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбивал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжон Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неадапчиками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу невыносимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глухой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреня лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзамновкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший!» — и он так же по-взрослому сказал: «Прости меня».

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, недалеко от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею, и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Ларю в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она покраснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество мебелировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или Консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливча-

тые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал». «Ейный». «Амалькина присуха». «Буйвол». «Бабыя порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Лара на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише, ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комодке...

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! — Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разноухать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминим поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинув руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улице было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немножко», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, — в мыслях рисовала себе Лара, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты нянек с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, — думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь именинница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он пригласил маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: “Амалия, берегите Лару”. Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали не одетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умиляничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах Московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столкнуться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалованье. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и уходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми-

ми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Феропонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Феропонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путевым кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерывал он Антипова, — но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, — лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз, — сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи. Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее, — сказал Тиверзин. — Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из

землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не свезу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей управой положил бы конец гомозне.

— Это, пожалуйста спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток, и кончен бал. Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном на шумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буяннить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогрело в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напиллок держишь, азиат, — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла, косые глаза?

— Ай, не буду, дяинька, ай, не буду, не буду, ай, больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранить? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходи, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранить?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пушай мне руки целует, что жив остался, косо́й черт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы, право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу, учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одежде пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал.

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку. — Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! — Это всё так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед, не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они нороят тебе нож в ребро, — ворчал он и не сознавал, куда и зачем он идет.

Этот мир подлости и подлога, где разевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, — все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути.

Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно очищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали: «Куда народ свищут?» Из темноты отвечали: «Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога. Пожар тушить». — «А где горит?» — «Стало быть, горит, коли свищут».

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса: «Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята».

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

Тиверзин пришел домой на третий день продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин, — зарядил он. — Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты, очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постоялый спрашивал, околадочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой, ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприан Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка.

«Не иначе — Пров, — подумал Тиверзин, усмехнувшись. — Пьет не напьется, прорва, огненное нутро».

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприан Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул

крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо.

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька, — тихо сказал он, — стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Купринька. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка мальчй, — в реальном учится, — один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почем ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я, дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление за-здравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запомнятовала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «у семи нянек дитя без глаза». Несколько револю-

ционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с весельем и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серую пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой.

Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефоновали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество печеских приказчиков, другие в Высшее техническое, третьи в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовЫй зал, в актовЫй зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть и все расселись на стульях, ру-

ководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники.

Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны.

В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и, хотя ее плотно подбитый ватой шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она, по счастью, увидела мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпились кучка случайных ротозеев.

Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он произвел перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

— Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас, это все штуки Купринькиных путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой, помру, ой, помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру-ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинута с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по заду.

— Да что вы, ей-богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

9

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался в даль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять очоливается где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен сни-

мали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разнотильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину — убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочное и ему нельзя отлучаться. Он стал рассказывать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

«У них там такой триумvirат, — думал Николай Николаевич, — Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия».

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах...

— А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю.

10

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

— Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

— Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

— Я уже раз читал там.

— В пользу политических?

— Да.

— Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился.

Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

— Декадентствуете? Вдальсь в мистику?

— То есть это почему же?

— Пропал человек. Земство помните?

— А как же. Вместе по выборам работали.

— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

— Как же. Жаркие были бои.

— Вы потом, кажется, по народному здравью подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

— Некоторое время.

— Нда. А теперь эти фавны и нениюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста... Или, может быть, я вторгаюсь... Что-нибудь сокровенное?

— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

— России нужны школы и больницы, а не фавны и нениюфары.

— Никто не спорит.

— Мужик раздет и пухнет от голода...

Такими скачками подвигался разговор. Сознывая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сблизает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдалется от добра.

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов, Достоевский?

— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматши. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии ком-

позитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека. Когда его одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты, и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно — ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гипербореицы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнута человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

11

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном — газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович

Комаровский. Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет — кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышная и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители — шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задышающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап», — долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла как невменяемая и только по приходе домой поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустила перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше.

Теперь она, — как это называется, — теперь она — падшая. Она — женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

— Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, не важно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и ма-нишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь, по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», — шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниды, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановилась на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

«Что за наваждение! — думал он. — Что все это значит? Что это — проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это — беспокойство? Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!»

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомнись! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый, слюнявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

— Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему — Сатаниды, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

14

О, какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто. Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще невзрослою гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной, школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренились в ней. И все время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней всё подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе: — А если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? — Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить ее под длинную вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку.

— Пров Афанасьевич, — шепнула ей Оля на ухо.

— Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

— Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня.

— Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко на всю церковь, не обращая внимания на службу, вра-

зумлял какую-то глухую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатými в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств, как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и жаждущие правды...

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десятка — прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистою травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телачий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, как она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приучением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, причем в такую, за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он ка-

зался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчишки. И главное, главное — револьверным выстрелам, все время щелкавшим оттуда. «Мальчишки стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчишки, — думала она. — Хорошие. Оттого и стреляют».

19

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимание чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унимать страсти вышла Фаина Силантьевна.

— Сюда, девоньки! — вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждой отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шальями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеek.

— Что случилось? — спросила подоспевшая Амалия Карловна.

— Нас съмают, мадам. Мы забастовали.

— Разве я... Что я вам сделала плохого? — Мадам Гишар расплакалась.

— Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина Силантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась.

— Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

— Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, — утешала ее Лара. — Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту

слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

— Вот так всегда, — говорила она, всхлипывая. — Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвященная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

— Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

— Филат, Филат! — позвали они дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в «Черногорию».

— Слушаюсь, барыня.

— Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна, и воду не забывай Кирилле Модестовичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, навещайся к нам.

— Слушаюсь, барыня.

— Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на прощание, и с Богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство легко перекаtywало во все стороны круглые, словно на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расширяя дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна считали эти выстрелы холостыми.

— Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, Святой Дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обсыкали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! — думала Лара, — она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не принимайте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, Боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза».

И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

— Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, — плакалась зади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О, как заодно щелкают выстрелы, — думала она. — Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!»

20

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александровичи Громеко были профессора химии, первый — в Петровской академии, а второй — в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железодельца и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фиштакшковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая залу. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пивяки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих поведках сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже *toute transportée*¹, в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим», — все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, Бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и, когда отворяли парадное, воздух плутано неся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндеветых волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не кладут. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойкум увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале ряды. «Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

¹ В восторге (фр.).



СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА. 1912 — 1913

«Февраль. Достать чернил и плакать!..»	6
«Как бронзовой золой жаровень...»	6
«Сегодня мы исполним грусть его...»	7
«Когда за лиры лабиринт...»	7
Сон	8
«Я рос. Меня, как Ганимеда...»	8
«Все наденут сегодня пальто...»	9
«Сегодня с первым светом встанут...»	9
Вокзал	10
Венеция	11
Зима	11
Пирры	12
«Встав из грохочущего ромба...»	13
Зимняя ночь (« <i>Не поправитъ дня усильями светилен...</i> »)	13

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ. 1914 — 1916

Двор	15
Дурной сон	16
Возможность	17
Десятилетье Пресни (<i>Отрывок</i>)	18
Петербург	
«Как в пулю сажают вторую пулю...»	19
«Волны толкутся. Мостки для ходьбы...»	20

«Чертежный рейсфедер...»	21
«Тучи, как волосы, встали дыбом...»	21
«Оттепелями из магазинов...»	22
Зимнее небо	23
Душа («О вольноотпущенница, если вспомнится...»)	23
«Не как люди, не еженедельно...»	23
Раскованный голос	24
Метель	
1. «В посаде, куда ни одна нога...»	24
2. «Все в крестиках двери, как в Варфоломееву...»	25
Урал впервые	25
Ледоход	26
«Я понял жизни цель и чту...»	27
Весна	
1. «Что почек, что клейких заплывших огарков ...»	27
2. «Весна! Не отлучайтесь...»	28
3. «Разве только грязь видна вам...»	28
Ивака	29
Стрижи	29
Счастье	30
Эхо	30
Три варианта	
1. «Когда до тончайшей мелочи...»	31
2. «Сады тошнит от верст затишья...»	31
3. «На кустах растут разрывы...»	32
Июльская гроза	32
После дождя	33
Импровизация	34
Баллада	34
Мельницы	37
На пароходе	39
Из поэмы (<i>Два отрывка</i>)	
1. «Я тоже любил, и дыханье...»	40
2. «Я спал. В ту ночь мой дух дежурил...»	42
Марбург	43

СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ. Лето 1917 года

Памяти Демона 46

Не время ль птицам петь

Про эти стихи 47

Тоска 47

«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...» 48

Плачущий сад 49

Зеркало 49

Девочка 50

«Ты в ветре, веткой пробуешь...» 51

Дождь. Надпись на «Книге степи». 51

Книга степи

До всего этого была зима 52

Из суевья 53

Не трогать 53

«Ты так играла эту роль!..» 54

Балашов 54

Подражатели 55

Образец 55

Развлеченья любимой

«Душистую веткою машучи...» 56

Сложь весла 57

Весенний дождь 57

Свистки милиционеров 58

Звезды летом 59

Уроки английского 59

Заняты философией

Определение поэзии 60

Определение души 60

Болезни земли 61

Определение творчества 61

Наша гроза 62

Заместительница 63

Песни в письмах, чтобы не скучала

Воробьевы горы	64
Mein Liebchen. was willst du noch mehr?	65
Распад	66

Романовка

Степь	67
Душная ночь	68
Еще более душный рассвет	68

Попытка душу разлучить

Мучкап	69
Мухи мучкапской чайной	70
«Дик прием был, дик приход...»	71
«Попытка душу разлучить...»	72

Возвращение

«Как усыпительна жизнь!...»	72
У себя дома	75

Елене

Елене	76
Как у них	77
Лето	78
«Гроза, моментальная навек...»	79

Послесловье

«Любимая — жуть! Когда любит поэт...»	79
«Давай ронять слова...»	80
Имелось	81
«Любить, — идти, — не смолкнул гром...»	82
Послесловье	83
Конец	84

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ. 1916 — 1922**Пять повестей**

Вдохновение	85
Встреча	86

Маргарита	87
Мефистофель	87
Шекспир	88

Тема с вариациями

Тема	89
----------------	----

Вариации

1. Оригинальная	90
2. Подражательная	91
3. «Мчались звезды. В море мысли мысы...»	93
4. «Облако. Звезды. И сбоку...»	93
5. «Цыганских красок достигал...»	94
6. «В степи охладевал закат...»	94

Болезнь

1. «Больной следит. Шесть дней подряд...»	95
2. «С полу, звездами облитого...»	95
3. «Может статься так, может иначе...»	96
4. Фуфайка больного	97
5. Кремль в буран конца 1918 года	98
6. Январь 1919 года	99
7. «Мне в сумерки ты все — пансионеркою...»	99

Разрыв

1. «О ангел залгавшийся, сразу бы. сразу б...»	100
2. «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем...»	101
3. «От тебя все мысли отвлеку...»	101
4. «Помешай мне, попробуй! приди, покусись потушить...»	101
5. «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей...»	102
6. «Разочаровалась? Ты думала — в мире нам...»	102
7. «Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс...»	102
8. «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею...»	103
9. «Рояль дрожащий пену с губ оближет...»	103

Я их мог позабыть

1. Клеветникам	103
2. «Я их мог позабыть? Про родню...»	104

3. «Так начинают. Года в два...» 105
 4. «Нас мало, нас может быть трое...» 106
 5. «Косых картин, летящих ливмя...» 106

Нескучный сад

1. Нескучный 107
 2. «Достатком, а там и пирами...» 107
 3. Орешник 108
 4. В лесу 108
 5. Спасское 109
 6. Да будет 109
 7. Зимнее утро (*Пять стихотворений*)
 «Воздух седенькими складками падает...» 110
 «Как не в своем рассудке...» 111
 «Я не знаю, что тошней...» 111
 «Ну, и надо ж было тужась...» 112
 «Между прочим, все вы чтицы...» 112
 8. Весна (*Пять стихотворений*)
 «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...» 113
 «Пара форточных петелек...» 113
 «Воздух дождиком частым сечется...» 113
 «Закрой глаза. В наглушайшем органе...» 114
 «Чирикали птицы и были искренни...» 115
 9. Сон в летнюю ночь (*Пять стихотворений*)
 «Крупный разговор. Еще не запирали...» 115
 «Все утро с девяти до двух...» 115
 «Пианисту понятно шнырянье ветошниц...» 116
 «Я вишу на пере у творца...» 116
 «Пей и пиши, непрерывным патрúлем...» 117
 10. Поэзия 117
 11. Два письма
 «Любимая, безотлагательно...» 118
 «На днях, в тот миг, как в ворох корпии...» 119
 12. Осень (*Пять стихотворений*)
 «С тех дней стал над недрами парка сдвигаться...» 119
 «Потели стекла двери на балкон...» 120

«Но и им суждено было выцвести...»	120
«Весна была просто тобой...»	120
«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»	121

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ. 1916 — 1931

Смешанные стихотворения

Борису Пильняку	122
Анне Ахматовой	122
М<арине> Ц<ветаевой>	123
Мейерхольдам	124
Пространство	125
Бальзак	126
Бабочка-буря	128
Отплытие	128
«Рослый стрелок, осторожный охотник...»	129
Петухи	130
Ландыши	130
Сирень	131
Любка	131
Брюсову	132
Памяти Рейснер	133
Приближенье грозы	134

Эпические мотивы

Город	135
Двадцать строф с предисловием (Зачаток романа «Спекторский»)	137
Уральские стихи	
1. Станция	139
2. Рудник	141
Матрос в Москве	142
9-е января (первоначальный вариант)	144
К Октябрьской годовщине	
1. «Редчал разговор оживленный...»	147
2. «Под спудом пыльных садов...»	148

3. «Густая слякоть клейковиной...»	159
Белые стихи	150
Высокая болезнь	153
ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД. Поэма	
«В нашу прозу с ее безобразьем...»	161
Отцы	162
Детство	165
Мужики и фабричные	169
Морской мятеж	172
Студенты	176
Москва в декабре	179
ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ. Поэма	
Часть первая	184
Часть вторая	194
Часть третья	203
СПЕКТОРСКИЙ. Роман в стихах	
Вступление	213
1. «Весь день я спал, и, рушась от загона...»	216
2. «Трещал мороз, деревья вязли в кружке...»	218
3. «Для бодрости ты б малость подхлестнул...»	223
4. «Стояло утро, летнего теплей...»	225
5. «Едва вагона выгнутая дверь...»	228
6. «Неделю проскучал он, книг не трогав... «	232
7. «Конец пришел нечаянней и раньше...»	237
8. Прошли года. Прошли дожди событий...»	239
9. «В дни голода, когда вам слали на дом...»	243
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. 1930 — 1932	
Волны	248
Баллада	256
Вторая баллада	257
Лето	258
Смерть поэта	259
«Годами когда-нибудь в зале концертной...»	260

«Не волнуйся, не плачь, не труди...»	261
«Окно, попитр и, как овраги эхом...»	262
«Любить иных — тяжелый крест...»	262
«Все снег да снег, — терпи и точка...»	263
«Мертвецкая мгла...»	263
«Платки, подборы, жгучий взгляд...»	264
«Любимая, — молвы слащавой...»	265
«Красавица моя, вся стать...»	265
«Кругом семенящейся ватой...»	266
«Никого не будет в доме...»	267
«Ты здесь, мы в воздухе одном...»	267
«Опять Шопен не ищет выгод...»	268
«Вечерело. Повсюду ретиво...»	269
«Пока мы по Кавказу лазаем...»	271
«О. знал бы я, что так бывает...»	271
«Когда я устаю от пустозвонства...»	272
«Стихи мои, бегом, бегом...»	273
«Еще не умолкнул упрек...»	274
«Весенний день тридцатого апреля...»	276
«Столетье с лишним — не вчера...»	277
«Весеннею порою льда...»	277

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ. 1936 — 1944

Художник

1. «Мне по душе строптивый норв...»	279
2. «Как-то в сумерки Тифлиса...»	280
3. «Скромный дом, но рюмка рому...»	281
4. «Он встает. Века. Гелаты...»	282

Безвременно умершему	283
--------------------------------	-----

Из летних записок

1. «Не чувствую красот...»	284
2. «Как кочегар на бак...»	285
3. «Счастлив, кто целиком...»	285
4. «Дымились, встав от сна...»	286
5. «За прошлого порог...»	287

6. «Я видел, чем Тифлис...»	287
7. «Я помню грязный двор...»	288
8. «Меня б не тронул рай...»	289
9. «Чернее вечера...»	289
10. «Немолчный плес солей...»	290
11. «Еловый бурелом...»	290
12. «На Грузии не счесть...»	291

Переделкино

Летний день	292
Сосны	293
Ложная тревога	294
Зазимки	295
Иней	296
Город	297
Вальс с чертовщиной	298
Вальс со слезой	299
На ранних поездах	300
Опять весна	301
Дрозды	302

Стихи о войне

Страшная сказка	303
Бобыль	303
Застава	304
Смелость	305
Старый парк	306
Зима приближается	307
Памяти Марины Цветаевой	308
Зарево <Из неоконченной поэмы>	310
Смерть сапера	315
Преследование	317
Разведчики	318
Неоглядность	321
В низовьях	322
Ожившая фреска	323
Победитель	324
Весна	324

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ. 1956 — 1959

«Во всем мне хочется дойти ...»	326
«Быть знаменитым некрасиво...»	327
Душа («Душа моя, печальница...»)	328
Ева	329
Без названия	329
Перемена	330
Весна в лесу	331
Июль	331
По грибы	332
Тишина	333
Стога	334
Липовая аллея	335
Когда разгуляется	335
Хлеб	336
Осенний лес	337
Заморозки	338
Ночной ветер	338
Золотая осень	339
Ненастье	340
Трава и камни	340
Ночь	341
Ветер (<i>Четыре отрывка о Блоке</i>)	
«Кому быть живым и хвалимым...»	343
«Он ветрен, как ветер. Как ветер...»	343
«Широко, широко, широко...»	344
«Зловещ горизонт и внезапен...»	344
Дорога	345
В больнице	346
Музыка	347
После перерыва	348
Первый снег	349
Снег идет	349
Следы на снегу	350
После вьюги	351

Вакханалия	351
За поворотом	357
Все сбылось	358
Пахота	359
Поездка	359
Женщины в детстве	360
После грозы	361
Зимние праздники	362
Нобелевская премия	363
Божий мир	363
Единственные дни	364

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

Первые опыты

«Сумерки... словно оруженосцы роз...»	366
Бетховен мостовых	366
«Я в мысль глухую о себе...»	367
Enseignement	367
«Бесцветный дождь... как гибнущий патриций...»	368
«Он слышал жалобу бруска...»	368
Элегия 3	369
«Там в зеркале, они бессрочны...»	369
«Пусть даже смешаны сердца...»	369
«В пучинах собственного чада...»	370
Piazza S. Marco	370
«Я не ваш, я беспечный черни...»	370
«На волю, на волю, на волю...»	371

Из книги «Близнец в тучах». 1914

Эдем	371
Лесное	372
«Грусть моя, как пленная сербка...»	372
Близнецы	373
Близнец на корме	373

Лирический простор	374
«Ночью... со связками зрелых горелок...»	375
«За обрывками редкого сада...»	375
Хор	376
Ночное панно	377
Сердца и спутники	378
Цыгане	378
Мельхиор	379
Об Иване Великом	380
<Надпись на книге «Сонетов» Петрарки>	380
«Весна, ты сырость рудника в висках...»	381
«Тоска, бешеная, бешеная...»	381
«Улыбаясь, убывала...»	383
«Уже в архив печали сдан...»	383

Из книги «Поверх барьеров». 1917

«Артиллерист стоит у кормила...»	384
«Осень. Отвыкли от молний...»	385
«Какая горячая кровь у сумерек...»	385
Полярная швея	385
«Как казначей последней из планет...»	386
Materia prima	389
«С рассветом, взваленным за спину...»	389
Предчувствие	390
Но почему	390
Скрипка Паганини	391
Баллада	394
«Вслед за мной все зовут вас барышней...»	396
Pro domo	396
«Порою ты, опередив...»	397
Appassionata	397
Последний день Помпеи	398
«Это мои, это мои...»	399
Прощанье	399
Муза девятьсот пятого года	400

Два посвящения

1. «Когда я был в парах токая...»	400
2. «Я говорю тебе: Сибирь...»	401
Наброски к фантазии «Поэма о ближнем»	401
Драматические отрывки	406
«Как облаками облагать...»	415
«Где синий свет свой зимний воск...»	416
«Мутится мозг. Вот так? В палате?...»	416
Русская революция	417
«Боже, Ты создал быстрой касатку...»	418
«В расчете на благородство...»	418
Любовь Фауста	418
Жизнь	419
Голос души	420
Стихотворенье	420
Голод	421
«Записки завсегдадая...»	421
Маяковскому	422
Gleisdreieck	423
Морской штиль	423
Перелет	424
Осень	424
Наступленье зимы	425
Седьмой этаж	425
Бодрость	426
1 Мая	426
Стихи для детей	427
Карусель	427
Зверинец	429
«Не оперные поселяне...»	432
«Событие на Темзе, столбом отрубей...»	433
История	433
Мороз	434
Ремесло	434
«Мгновенный снег, когда булыжник узрен...»	435

«Жизни ль мне хотелось слаще?...»	435
«Будущее! Облака встрепанный бок...»	436
На смерть Полонского	437
«Я понял: все живо...»	437
«Все наклоненья и залого...»	438
Присяга	440
Русскому гению	441
В.Д. Авдееву («Когда в своих воспоминаньях...»)	442
«Грядущее на все изменит взгляд...»	442
1917—1942	443
Спешные строки	444
Одесса	445
Нежность	446
Бессонница	446
Под открытым небом	447
«В разгаре хлебная уборка...»	447
«Друзья, родные, милый хлам!..»	448
Анастасии Платоновне Зуевой	449
«Перед красой земли в апреле...»	449
О Боге и городе	450
«Деревья, только ради вас...»	451
Чувство жизни	451
«Когда я с честью пронесу...»	451
Как ко всему на свете глухо...»	452

ПРОЗА

Апеллесова черта	454
История одной контроктавы	471
Письма из Тулы	493
Безлюбье	499
Диалог	504
Детство Люверс	509
Три главы из повести	549
Воздушные пути	556
Повесть	565

Охранная грамота	603
Записки Патрика	673
Люди и положения	716

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Этот свет	758
Слепая красавица	773

ДОКТОР ЖИВАГО. *Роман*

Первая книга

Часть первая. Пятичасовой скорый.	842
Часть вторая. Девочка из другого круга.	855
Часть третья. Елка у Свентицких.	886
Часть четвертая. Назревшие неизбежности.	907
Часть пятая. Прощанье со старым.	936
Часть шестая. Московское становище.	962
Часть седьмая. В дороге.	995

Вторая книга

Часть восьмая. Приезд.	1030
Часть девятая. Варыкино.	1046
Часть десятая. На большая дороге.	1068
Часть одиннадцатая. Лесное воинство.	1084
Часть двенадцатая. Рябина в сахаре.	1102
Часть тринадцатая. Против дома с фигурами.	1119
Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине.	1152
Часть пятнадцатая. Окончание.	1187
Часть шестнадцатая. Эпилог.	1214
Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго	
1. Гамлет	1225
2. Март	1226
3. На Страстной	1226
4. Белая ночь	1228
5. Весенняя распутица	1229

6. Объяснение	1230
7. Лето в городе	1231
8. Ветер	1232
9. Хмель	1232
10. Бабье лето	1232
11. Свадьба	1233
12. Осень	1235
13. Сказка	1235
14. Август	1238
15. Зимняя ночь («Мело, мело по всей земле...»)	1240
16. Разлука	1240
17. Свидание	1242
18. Рождественская звезда	1243
19. Рассвет	1245
20. Чудо	1246
21. Земля	1247
22. Дурные дни	1248
23—24. Магдалина	
I. «Чуть ночь, мой демон тут как тут...»	1249
II. «У людей пред праздником уборка...»	1250
25. Гефсиманский сад	1251
Послесловие	1253